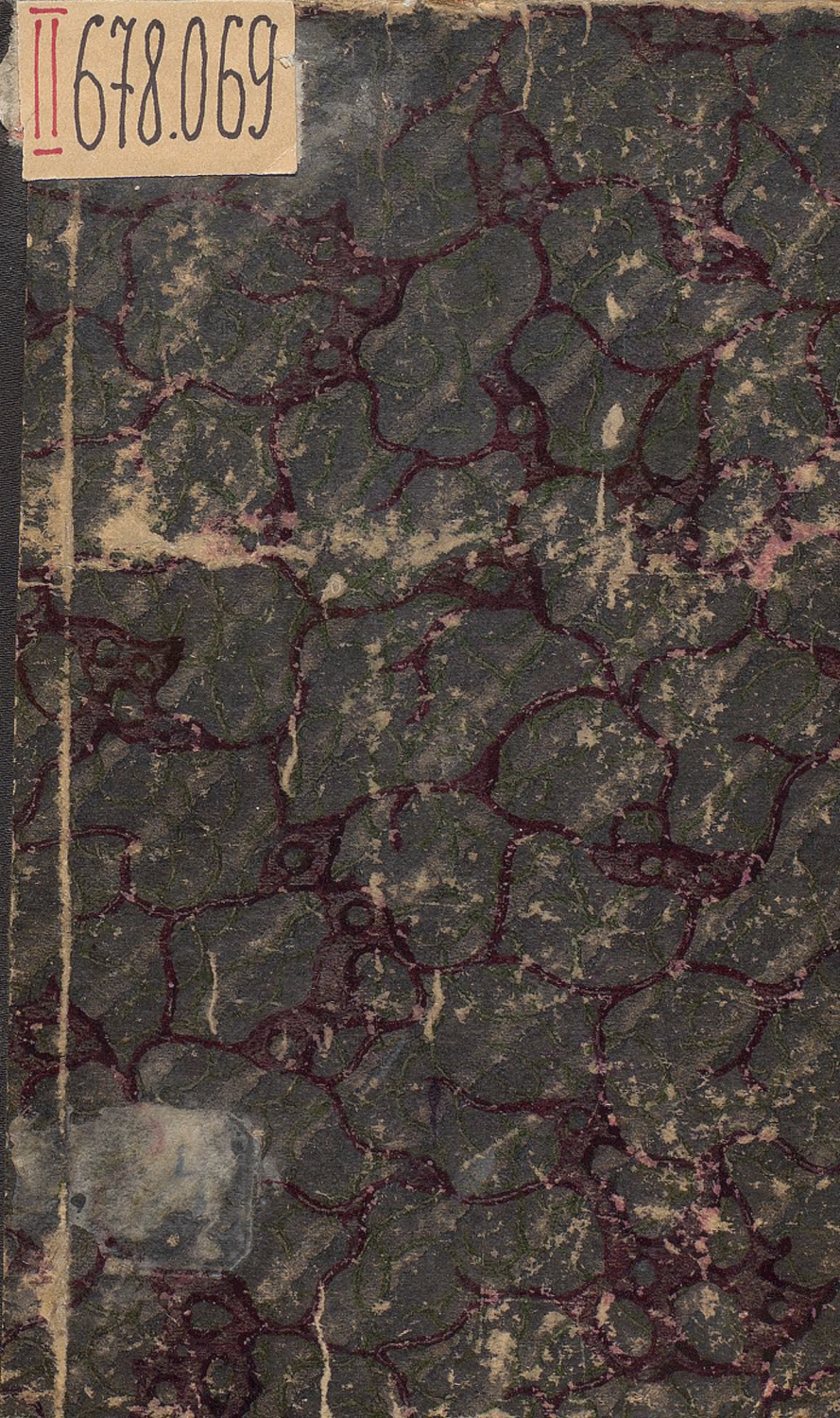


II 678.069



678069

~~165.574~~

1973

Б. ПИЛЬНЯК

П 324

П-324

РОССИЯ В ПОЛЕТЕ

Возвращено Г. Е.

Пр. 1936 г.
Абонемента



ц. 90к

АБОНЕМЕНТ.
ПРОВЕРЕНО 1935 г.

ЦЕРМСКАЯ
Центральная Библиотека
имени Максима Горького
№ 165.571
19 хл 1933 г.

50к

МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

МОСКВА 1936 ЛЕНИНГРАД

2012

П.К.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

РОССИЯ В ПОЛЕТЕ

Эту главу, эту книгу я хочу начать с передачи моих ощущений в полете—с лирического отступления, ибо это „лирическое отступление“ полета есть камертон, тоном которого я хотел бы окрасить эту книгу о „подкаменных“ землях.

Самолет улетел из Москвы, взяв с собой все до последней гайки,—так он мог бы лететь не только по „подкаменью“, но и в любой пустыне.—Самолет на берегу. Самолет—эта та прекрасная машина, которая понесет нас в воздух. Самолет—это тот строгий товарищ, который не любит шуток и неточностей: если недовинчена, перевинчена самая пустяковая гайка,—он падет с воздуха, от нас не соберут даже костей. И чтобы последняя гайка была свинчена как следует,—как следует должны работать наши головы, ибо разбиваться мы не хотим. И наши головы были в блестящем порядке. Так машина указывала нам—так машина влияет на быт—мы заботливо следили за нашими головами.

П о л е т !

Если человек убежден, что „рожденный ползать—летать не может“, то ему будет страшно садиться в самолет, застегивать ремень, его мозг будет видеть разбитые крылья аэроплана, разможенные (привязанные) тела пилотов, смерть и, быть может, этому, рожденному в убеждении ползать, лучше и не заползать в самолет.

Мы летим над Камой в Татарской Республике, у города Чистополя (города названного Чистополем от глагола чистить, грабить, ибо построен был город в местах, „расчищенных“ татарами),—и я за норму взял такое, что я именно рожден летать; только, дескать, с детства летаю, а в данном случае даже не лечу, а передвигаюсь в село Камские Полянки, побыть среди

крестьян и попить молока, ни более ни менее; и я спокойно таскал с нашим уполномоченным Вахламовым (он босиком, а я засучил штаны) бензин из бочки в мотор, брезенты, литературу; потом закурили, сели, борт-механик Ключко развертел пропеллер. Застегнул ремни и...—и в воздухе; сначала и люди, и улицы, и дома, и стада,—а потом в конце—одна географическая карта. Это уже многими описано. И так же многими описано, что быстроты полета не чувствуешь и высоты не сознаешь, тоже не чувствуешь. Страх перед полетом только мозговой, только у тех, кто решил „ползать“.—Я поставил себе целью попить молока, пропеллер шумит, говорить нельзя и я думаю.

Первое. Я знаю, что мы идем сто двадцать километров в час, но я этого не чувствую, я только вижу, как там внизу ежесекундно отбрасываются назад клинья полей, озера, дорога Камы—пригорков и холмов не видно: одна карта. И я только знаю, что мы в версте над землей, в высотах,—я этого не чувствую. Колоссальный бег и высота не чувствуются, но только сознаются, их трудно сознать... и это я знаю не только для аэроплана,—но и для России, всей той, которую трудно усмотреть, новой.

Второе. Сидя за ремнем в самолете, я устанавливаю, что я летал уже многое множество раз, главным образом, от четырнадцати до семнадцати лет: сейчас я лечу на самолете системы Юнкерс, тогда я летал на крыльях—во сне. И тогда те полеты во снах—куда были интересней, романтичней, страшнее: там во сне бывало, вылетишь из окна, взлетишь на луну, сядешь в лунное болото и играешь над болотом в горелки... И это опять я думаю не только о полете в аэроплане, но и о России: выдумывать, проектировать, фантазировать куда интересней, чем отыскивать явь, чем рыться в действительности, чем видеть действительность.

— И все же факт остается фактом: самолет прекрасное, величественнейшее достижение человеческого гения, гения, сделавшего явью сны. И факт остается фактом, что мы летим в глухую деревню только затем, чтоб рассказать, показать этот самолет,—что мы пролетим тысячи верст в глушайших российских местах и поднимем в воздух сотни крестьян, рабочих, тех, кто хочет быть рожденными летать, а не ползать. Мы будем у пермяков, у вогулов, у зырян, зайдем в Чусовую,

за Каму, за Двину—к Белому морю, на Белое море, — в понурый поозерный лопарский край... Мы будем в местах, которые есть—Россия, но которые оторваны от всего мира гораздо больше, чем китайский путь,—мы несем туда—для себя—риск не найти места, где можно снизиться,—и для тех, кто встретит нас—знание и волю в высь.

* * *

Вот наш будничный день.

Там внизу на земле, которую пилот Копылов сверяет с картой, возникло село Камские Полянки—и земля стала ползти к нам, подлезать под нас, потом самолет сел на воду,—тогда привычно стали на свои места—берег, нищая пароходная конторка, холмы над рекой, лес, поля. И по дорогам, по полям, по пахотам, верхами, на телегах, рысью, вскачь, на своих на двоих—побежали к самолету—мужики, парни, бабы, девки, дети, древнейшие старики,—в страхе, готовые в случае чего дать лататы обратно, в случае чего принять в дреколья,—во всяком случае, ставшие так, чтобы у каждого в случае чего оказалась бы его „хата с краю“. А наш уполномоченный уже говорит речь.—День был жарок очень, потов с нас сошло много, предстоит вновь разуваться, и Вахламов говорит о вещах, ясных, как будни,—о том, что аэроплан прилетел из Москвы, о том, что такое воздухоплавание, что такое Авиаким—приветствует крестьян от московских рабочих,—от лица культуры,—говорит о наших путинах и о том, что Республика поставила задачей влить в наш быт аэроплан, что здесь будет произведено пять посадок, двадцать местных крестьян будут подняты в воздух, те, которые рождены летать.

Я стоял в толпе и слушал.

— Яруслан, слышь, прилетел?

— Как гусь и по небу, и по воде!

— Дальнее поле жать ездить очень подходяще.

— Раз заграницы (от слова заграница) технику всю учили, нашей державе отставать нельзя никак.

К семидесятилетней старухе:

— Полетишь, бабка?

— Полячу, касатик, только помру, боюсь.

Это комментировалось словами,—но было такое, чего ни один не смог бы сказать словами,—того, что вот у их берега, где родились и умерли деды, где в памяти еще разбои

и дичь, где все родное, где пасутся овцы и родной плавает через реку дощаник, такой дощаник, которому от рождения лет пятьсот, поди,—здесь у их берега, стоял самолет, стальная прекрасная птица. И это прекрасный факт, что крестьяне в лаптях поползли к кабину самолета: именно потому, и залетел сюда самолет, именно потому, что в России лапти идут рядом с самолетами, именно поэтому в России и революция.

Желающие полететь записывались в местной авио-ячейке. Местный председатель спросил:—кто же полетит?

Молчание. Строгая минута.

Первый—шапкой о землю:

— Была не была, лячу.

Второй глаза в землю:

— Сажай!

Был и такой: бородатый, добрый, хороший,—„пиши, полечу!“—а в тот момент, когда надо было садиться,—вдруг шапку под мышку, на месте кругом и карьером—в гору в гору;—потом пришел и всем объяснял:—„лошадь, дескать, у него побежала, дескать, боялся, что лошадь испугается“—на лошадь сваливал!

Было и такое: баба: „это чорт прилетел!“—„Что же и я чорт?“—спрашиваю я.—„А то кто же?“

Но вот—пропеллер пущен (—„контакт!“—„есть контакт!“)—и стальной лебедь уходит в воздух с крестьянами, с лаптями, с колыхающимися их сердцами. Всего того, что говорит толпа на берегу—не передашь: толпа боится, толпа счастлива, толпа горда!

Но вот—самолет опять на берегу, и из кабины выходят крестьяне: один не может сдержать блаженной улыбки, другой мотает от удивления и радости головой,—над девушкой шутит пилот:—„Ну, красавица, приданое теперь приобрела, от женихов отбою не будет!“—и бабы на берегу комментируют:—„и что и говорить, и взаправду, всю жизнь помнить будет“... На лицах счастье, на лицах гордость. И тогда отбоя нет от желающих полететь, все хотят побывать птицами.

Сумерки, солнце садится за Каму, комары кусают... Баба говорит:—„коров пригнали, надо доить!“—и другая баба ее прерывает:—„погоди, надоишься на своем веку: не каждый день летать будешь“—и я думаю о том, что ведь даже страшно представить, что миллионы русских баб в эти часы

сумерок сидят у коровьего вымени, миллионы доятся коров. Это то же, что и наши российские лапти, кабала к земле. Бабы не доят сегодня коров. Мужик говорит жене, тихо (я подслушиваю); „эх, дожличка бы, один бы дал, чтобы таких машин больше было, пятерку дал бы“...

— Раз технику все учили, значит и наша держава должна.—

Те, кто летали, никогда этого не забудут... Русский крестьянин—всегда „моя хата с краю“, у нашего мужика копейка тяжелая, он резонер, он, когда не верит, в глаза не глядит, полянки свои он бережет. А, когда Вахламов говорил прощальное слово, все глаза были на нем, в нем. И мужики просили остаться:

— Переночуйте, ужин приготовим, дорогими гостями будете.

— Московские рабочие все-таки о нас помнят,— может поросенок с собой захватите, вот тут жертвователь имеется.

* * *

Но пропеллер уже пущен (—„контакт!“—„есть контакт!“)—и мы—в сумерках, в воздухе по пути к Чистополю,—к городу Чистополю, который надо переименовать в Грязную Лужу:—еще бы, июль месяц, жарища чертова, а мы каждый день мажемся в грязи по шею.

В городе Чистополе до сих пор пареньки на крышах голубей гоняют, а интеллигенция ходит по вечерам играть на бильярде, как при Гоголе, и мне в трех учреждениях рассказывали, что клад здесь в земле найден. А в первых [советских [номерах: преизобилие клопов, но отсутствуют—кровати, подушки, одеяла,—так что Вахламов спит хоть и с подушкой, но на полу, я—без подушки, но на кровати, а Ключко—и без подушки и без пола, и без кровати,—спит на деревянном двухместном диванчике, ноги складывая на стул.

Но этот последний подглавок—не о чистопольских грязях и не о номерных клопах, а о новой интеллигенции: вот о тех трех моих товарищах, с которыми я летал. Их трое, все они разные характерами,—уполномоченный Вахламов, пилот Копылов, борт-механик Ключко,—и все они квашены одними и теми же дрожжами. Они проделали своими руками все войны последних годин и всю революцию. Они интеллигенты не в том

кислосладком лимонадстве, которым занимается в Чистополе на билиярде местная интеллигенция и которым проговаривала время старая интеллигенция,—они интеллигенты потому, что у них уже скопились те духовные знания и навыки, которые отличали лучшую интеллигенцию. И у них есть уже свой, новый быт. Я никогда не подозревал в человеке такой огромной любви к машине, какая есть у них троих—к самолету; я уже вместе с ними люблю самолет, как самого дорогого строгого брата. Они трое—не очень многоречивы—и три пятых наших разговоров—около самолета, о нем. Право быть в воздухе—строгое право, и оно несет за собою много обязательств,—и посмотрите, как у каждого из них, особенно у Копылова, выверены и тверды движения и слова, никак не на ветер!..

...Чистополь еще промышляет голубями,—нас по ночам едят клопы,—но машина наша в блестящем порядке,—нас дисциплинирует наш быт,—и мы на этой машине пройдем еще тысячи верст по разным чистопольским грязям,—нас пронесет машина,—но машину поведут люди,—и это опять о России, ибо раньше такой интеллигенции в России не было. Быть может, речи о новом быте—как раз и надо начинать отсюда: с этих двух особенностей, которых не было у старой русской интеллигенции:—уменья быть страстными и любить,—уменья быть вольным и добиваться поставленного перед собой.

...Пусть Чистополь промышляет голубями,—стальная воля людей заставит лететь не только голубей, но и стальных птиц, не только в Чистополь,—но и из Чистополя. Этому залог—те парнишки и мужики, которые, хоть и шапкой о землю, хоть бабка мне и удостовериала, что я чорт,—все же летали вместе со своими лаптями.

...Пусть сны страшнее и романтичнее яви и с высоты самолета не заметны эта высота и скорость,—присмотритесь: революционный сон Семнадцатого года идет к тому, чтобы стать дневной явью.

ГЛАВА ВТОРАЯ

САМОЛЕТ и КУРИНАЯ ПАРША

Когда голова переутомлена, тогда в голову лезут отрывки, додумать все до конца невозможно,—но каждая недодуманная мысль, каждая мелочь помнятся. Все дни не досыпаем,—и такая жгучая жара днями, точно вся земля стала русской широко-спинной печью, дышать нечем. Все же это—Кама, Покамье, леса и поля, направо и налево,—Россия: и на Россию я гляжу с самолета, из высей, из сотен верст, которые текут—там внизу—между пальцами,—но, кроме этого, нельзя не пожаловаться на клопов, на блох—и даже на куриную паршу, которая ест нас.

...Отсюда, с тысячи метров над землей—земля внизу кажется одетой в очень старую, очень заплатанную, многожды перешитую рубаху пажитей, переделов, оврагов: вон та географическая карта, что лежит под нами, и есть рубаха России, и заплаты—то ржаные, то гречневые, то под паром; — кое-где рубаху проела моль града, кое-где рубаха переделана из помещичьих земель на мужичью, на многопольную,—и все же рубаха бархатная, в бархате ржей, овсов, ячменей, расшита рубаха внизу серебром Камы, поворонена лесами, чуть видно внизу, как стригут землю косари в сенокосе. А солнце каждый раз в стороне, рядом с нами. Об этой рубахе можно думать часами,—но здесь в вышине часы превращаются в минуты, здесь в минуту мы проходим столько, сколько идущий по земле в час...—Пропеллер рокошет,—прошлую ночь спали два часа, эту—три,—мысли бегут облаками, мысли разбежались,—вижу, Вахламов рядом закрыл глаза, откинул к спинке голову, и все проваливается в сон; и сразу просыпаюсь,—потому что тело потеряло весомость, ремень натянулся на животе: Копылов, пилот, хохочет около рулей;—он увидел, что мы вздрем-

нули, и кинул машину метров на сто вниз, чтобы разбудить нас,—скучно ведь одному бодрствовать!—мы очень бодрь, говорить трудно, надо кричать,—тогда—мы начинаем петь песни. Я ору что есть мочи, мне очень хорошо,—и я очень хорошо думаю о России, о той рубахе, что лежит под нами.

* * *

...О часах. Наши часы поставлены по московскому времени,—и поэтому, когда на них двенадцать, полночь,—на деле начинает гореть восходом небо:—мы ушли вперед на два часа. Это каждый день путает нас. Это навело бондюжского рабочего на такие размышления,—он спросил:

— Ну, так, по прямой линии с востока на запад триста верст вы сколько времени пролетите?

— Два часа,—ответил я.

— А с запада на восток?

— Тоже два часа,—ответил я.

Он задумался, прикинул глазом, сказал:

— Не верно. При такой скорости для точности, хотя бы пока и в секундах, но принципиально надо брать в расчет вращение земли.

Он был прав. Я думал тогда о человеческой гениальности, о том, что он был прав, что человечество должно уже брать для „принципиальной точности“ в практике—брать в расчет и вращение земли. Я с гордостью смотрел на самолет, около которого мы разговаривали, который был готов к отлету, эта стальная птица. Мы стоим на пригорке, он, самолет,—на воде; я присматриваюсь к нему: фюзеляж Юнкерса похож на лоб, а кабины пилота и борт-механика—на глазницы,—я присматриваюсь и вижу: самолет страшно похож на человеческий череп—эти пустые глазницы, этот срезанный лоб; я знаю: человеческий череп всегда был символом мудрости.

* * *

...Глупости! Пустяки!

Татарка после полета:

— Теперь меня помирить можно.

Мужик спрашивает:

— Что же, чем выше, тем холодней?

— Да,—отвечаю я.—В высоте на три тысячи метров вода мерзнет в самую большую жару.

Мужик раздумчиво:

— Та-а-к, святым, выходит, там холодно,—в шубах приходится ходить.

Другой мужик, бородатый, обиженный,—так, „от бога“, мужичек, обижен тем, что его не подняли в воздух. Я говорю ему:

— Надо вступить в ячейку.

Спрашивает:

— В какую? Комсомола?

Отвечаю:

— Куда тебе с бородой в комсомол!—надо вступить членом в ОДВФ.

Комментирует:

— В комсомол, стало быть,—не надо?

* * *

...Там, внизу, в синей мгле проплыла мимо нас Елабуга,—налево ушел Мамадыш. Елабугу я никогда, должно быть, не увижу с земли,—ибо когда меня еще занесет в эти места?..—я вижу внизу несколько церквенок, квадраты улиц,—людей не видно, это даже не муравейник. Когда в синей мгле умирал город Мамадыш, растворяясь в мглу, Вахламов, капитан или староста, как мы его зовем, наклонился к моему уху и прокричал:

— На-днях в мамадышском кантоне в лесах нашли деревню, десять дворов,—об ней никто ничего не знал, она нигде не была записана, — но и в ней никто ничего не знал о том, что творится в России,—и когда их нашли, они спрашивали, кто теперь в России царем?

...Солнце рядом с нами,—под нами земля...

* * *

В Чистополе—все же нашлись три одиночествующие человека, три учителя, Неунылов, Бахтатзе и Булич,—и с ними я досиживал последний мой чистопольский вечер за разговорами о России и революции, как надо говорить в одиночестве. И лег в постель я в час—по чистопольски; и в час по московски—по чистопольски в три меня разбудили; так трудно просыпаться по утрам, когда солнце совсем несуразно лезет в окна и дороже всего подушка (у меня, в частности, из моего же

пальто); и ни к чему чуть почерствевший кусок хлеба и чуть прокисшее за ночь молоко. Но солнце кидает свои рапиры, под окном тарахтит телега за нашими вещами: надо быть бодрым. Стащили вещи, уложили на телегу, потащились по пылицам за телегой к берегу. Кама пустынна, безлюдна, каких-то три случайных татарина, местный пред ОДВФ, милиционер. Убрали вещи, сняли чехлы, поругали грязь, влезли, сели,—спать хочется!—Местный пред толкал нас—самолет—в воду, поскользнулся, угодил в тину по шиворот. Чистополь отвернулся от нас, пропеллер гудит; уселись поудобней, застегнули ремни, поправили в ушах вату,—вода мчит под нами стремительно—до того момента, пока вдруг она не стихла под нами: значит, мы оторвались от земли, значит мы в тех стихиях, где не чувствуешь быстроты и высот; и тогда уже не мы—мы стоим на одном месте,—а Чистополь пополз от нас. Кама, леса, поля, игрушки деревень; холмов, пригорков не заметно, там внизу ровный ковер, рубаха России. Клокочет пропеллер, солнце сбоку, режет ветер. Минуты в воздухе идут часами: вон, во мгле остался Мамадыш, вот—никогда не увижу с земли—Елабуга. Сто семьдесят верст путины Камы—здесь в воздухе—от Чистополя до Бондюжского химического завода—мы шли час десять минут. Покружились над заводом, посыпали завод агитками и сели на воду у села Тихие Горы; над селом летели почти касаясь крыш, и видел я, как женщина гнала корову хворостиной, она нас не видала,—она увидела нас и—опрометью бросилась она от нас куда-то под сарай, корова же, задравши хвост, в другую сторону помчалась, и осталась на месте одна лишь хворостина!.. Мальчишкам—всегда все надо первым знать, всегда все надобно изведать,—и, когда мы к берегу пристали, горохом облепили нас мальчишки,—я все спрашивал:

— Ну, как, не опоздал?

Тут на земле солнце уже заботилось, чтоб землю превратить в сплошную печку. На холмах—на Тихих Горах—разбросана была деревня, в гору, в тоннель ползла под'емная дорога—за горы, к заводу. На берегу нагружали баржу мелом, и на барже—дата построения ее: 1925 год;—нагружали женщины,—ни девушками, ни девками их не назовешь: правильно сказать—девкищи!—откуда только такой народ берется?—и все эти девкищи в меловой пылице, белые, как мел,—быть может, и на

самом деле они каменные?!—Посвистывает паровозик, над элеватором сине, бездонно.

Ждали милиционера, сдали под охрану самолет, пошли (стошли от толпы, но мальчишки от нас никак не отставали, точно мы медовые), пошли купаться, скреблись мылом,—этак хорошо поплескаться под солнцем, погонять друг друга по волнам, попрогонять сон. Солнце жжет...

Пошли на завод. Переплыли лужу на лодке (мальчики провожали нас, в штанах и рубашках, вплавь),—прошли деревней, испоконной, как наши столетья, под соломой и о трех трахомных оконцах. Вышли на шпалы декавильки (настоящая проезжая железная дорога отсюда в ста верстах с огромным гаком) к бочкам извести, к грудам колчеданов, к штабелям дров и леса,—к рабочим фартукам, к каменным в мелу с тачками девкам. Элеватор на горе построен в 1922 году, раньше таскали вручную. Ждали под навесом у элеватора, вместе со сменой рабочих, „паровичка“, который нас потащит и вверх, и на завод. Какая-то „рука“ (рабочая артель) спорила о том, надо ль ей или не надо платить прогульный штраф и матершинила дирекцию, впрочем, не очень усиленно, ибо мешала жара, а штраф платить приходилось. Потом с горы на канате с'ехал вагончик, на него насыпали колчедану и навалили бочки. Этот вагончик вместе с бочками потащил на гору нас. Там пересели на паровичек. Паровичек свистнул, потащился, сошел с рельс,—натасили на рельсы, потащились вперед. Завод лежит за горами в лощине, разбросаны корпуса, разбросаны поселки рабочих,—посреди завода лужа, против лужи церабкооп, против церабкоопа и лужи — заводоуправление. Час уже десятый по местному, в заводоуправлении получили право пойти спать и есть в „дом холостых“—в приезжий дом—в заводоуправлении на стенах диаграммы, плакаты, производительность труда повышена по сравнению с довоенной—на 20%, открыты новые выработки, вырабатывают радий. В заводоуправлении узналось, что производство поставлено первобытно, ряд ядовитых газов вырабатывается вручную, например, соляная кислота,—и там смена для рабочих каждые четверть часа, и работают там в противогазных масках. Директор завода—дельный человек—обмолвился, что здесь не изжит еще военный коммунизм,—но общественной работы нет никакой, а многие рабочие живут в допотопных рабочих казармах, по семь человек в одной комнате...

Но надо спать; вечером полеты,—а сейчас спать! Подмышкой краюха хлеба, мальчишка послан вперед, чтобы были яйца и четверть молока. Но в доме приезжающих—спать возможности не было, потому что там нас ждали миллионы клопов в каждой щели и в каждой складке матраца. Над нами сжалились, сказали, что в школе приготовлены постели для комиссии, которая не приехала, и там клопов нет, с'ели по полдюжине яиц, испили четверть молока.—Подали нам линейку, помчали в школу, легли в постели: сразу налились свинцом сна, сразу уснули... А когда я проснулся, Копылова не было на кровати, он спал где-то под кафедрой, но все наши кровати были в клопах, и армии клопов ползли на нас по стенам: надо было раздеваться и вытряхивать клопов из белья, как в войну—вшей. Опять пили молоко, ели бараний суп,—опять помчали на линейке: теперь на берег к самолету, на митинг, на полеты, к тысячам крестьян и рабочих.

Я ходил в толпе и слушал,—я смотрел с пригорка на самолет, видел, что он похож на череп человека, символ мудрости,—и думал—думал о том, что у нас много говорится о наших тысячах верст пространства,—и как-то мало думается о тех же тысячах верст российских вертикалей—от Толстого и Ленина до безграмотного мордвина—от этого нашего самолета до этих лаптей на берегу и до клопов.

Машина координирует нас: наш самолет—абсолютно строгий, абсолютно справедливый, абсолютно точный товарищ,—пусть нас из'ездают клопы—самолет должен быть и есть в абсолютной чистоте и в абсолютном порядке!..—Но спать мы решили на завод уже не ходить,—решили пойти здесь же на берегу в избу, достать там молока и завалиться на сеновале, на свежем сене. Полеты кончились; все, кроме мальчишек, разошлись;—убрали машину, сложили вещи, вычистили, проверили—и затемно пошли на деревню, искать избу.

* * *

Нашли!.. Вот такую, каких миллионы на Руси, с двором-коровником, с крылечком на курьих ножках, с дедом в валенках, с мальченком, который три четверти года ходит босой, с девкищей-комсомолкою, с хозяйшкой, „сторонницей святых“,—с древнейшим мужичьим духом бараньего и коровьего помета. Мылись из ведра, пили молоко на крылечке, дед спра-

шивал—к добру или не к добру прилетели мы,—„слышь, ска-
зывают, к войне вы летаете, с поляками, либо турками“.—
Объяснили ему, что летим мы никак не к войне, а к миру,—
и полезли на сеновал спать. И сеновал был, как подобает ему
быть в тысячах российских деревенских дворов.—В горницу
нас звала хозяйюшка, но мы отказались туда пойти, из-за кло-
пиной боязни. Сеновал был как раз над овечьей закутой: я и
не знал, что овцы так утомительно-гнусно пахнут, мешая
дышать. Ноги были налиты свинцом усталости, голову заливал
свинец сна. Сначала молчали. Потом один сказал, что ест его
кто-то, другой отозвался, подтвердил,—третий встал по своим
делам, стукнулся о перекладину крыши головой, сейчас же заку-
дахла курица,—и сейчас же установлено было, что с нами на сено-
вале ночуют куры, над нами на перекладине, подпирающей крышу:
и тогда стало ясно, что ест нас так называемая куриная парша, ку-
риная вошь. Перетащили головы от перекладки, чтоб не нагадили
на лицо куры, легли, помолчали, поругались,—но сон прошел,—и
Копылов стал рассказывать о тех проектах, которые проводятся
в жизнь на Западе: проектируется построить пловучие города—
аэродромы, которые будут раскиданы по океанам, будут стан-
циями для самолетов,—там будет целый город, с садом, с по-
коем земли, туда, как на маяки птицы, будут слетаться само-
леты, там будут, как на узловых станциях, пересаживаться
пассажиры. В Америке строится воздушный—для самолетов—
плацдарм, на котором, на спине которого сидит сотня само-
летов, есть почилочные мастерские, есть продовольственная
база, на нем сто восемьдесят офицеров и тысяча восемьсот
солдат,—этот плацдарм плывет в воздухе, он идет там со
скоростью семидесяти километров в час!..—Но куриная парша
кусала нас неимоверно. Я не выдержал, сполз с сеновала и
пошел искать себе иного логова.

На дворе стояла телега, в ней поместилась двуручная кор-
зина с сеном: я влез в эту корзину, изогнувшись, как перо-
чинный нож,—и лежал там. Оттуда, из корзины видны были
звезды. Смотрел на звезды, лежал на российской рубахе, на
траве, на [земном бархате и наблюдал за ночью небесной
ферезью, вспоминал, как мужичек пожалел святых, коим при-
ходится ходить в шубах. Думал о том, что машина наша
в порядке, что мы в порядке, и голова моя ясна,—что при
полетах скоро уже надо будет брать в расчет полеты земли.

Но местное время на два часа впереди московского. У нас только московские часы. И в час ночи мы уже на ногах, в ночном холодке поднимается из-за земли, из мглы солнце. Мы идем к машине. В эту курино-паршную ночь мы спали два часа.

Мы в воздухе, солнце сбоку от нас, внизу земная рубаха. Наш путь—175 верст.

Мы летим семьдесят минут—семьдесят земных часов.

...Когда голова переутомлена, тогда лезут в голову отрывки, додумать все невозможно,—но каждая недодуманная мысль, каждая мелочь—помнятся. Очень хочется спать. Думаю о том, что у нас много говорится о наших плоскостных тысячах верст и забывают о вертикальных—от Толстого и Ленина до безграмотного мужика—от самолета до куриной парши...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

О ЗАВОДАХ, ОБ „УПОЕНИИ В ПОЛЕТЕ“

...С золотым рассветом вылетели мы на Лысьвенский завод, на Чусовой. На Лысьве были днем, в закат полетели на Чусовую. Нам на самолете лишние пять верст—две минуты лету: человеку на земле—пять сюда да пять обратно—три часа возни ногами. То место, которое указали нам для посадки, где нас встречали тысяч десять народу с двумя оркестрами, со знаменами и плакатами, было неподходяще для посадки, мы сели в пяти верстах от него, на реке Чусовой, под скалами, заросшими елями, около бесконечных плотов,—да так и проторговались весь закат, кому к кому итти, нам ли перелететь к тысячам, тысячам ли притти к нам.—Так толком в тот день народ к нам и не пришел. Нам пришлось ночевать;—ждали людей мы до одиннадцати, стемнело, тихий такой, чуть холодный, темный в облаках был вечер. Ждали милиционера,—пришел, сдали ему самолет на хранение. Полезли по бревнам на берег, ждали там лошади,—приехала, потащила нас в поселок. Во мрак ушли обрывы берега, стерлась щетина сосен и елей во мраке. Ехали шестером на тарантасе, утверждали, что на самолете не так скоро сломаешь ребра, как на этом самокате и по этой дороге. Поднялись на холм, и:

—леса, тишина, прибрежные горы, а в ложине, меж гор, горит, полыхает красным упорным, непокойным, будящим светом,—домна, — горит завод, дымят трубы, гудит паровичок: горит домна, берedit заревом на облаках, непокоит, будит красным огнем.

* * *

О заводах.— Утром, когда в солнце мы поднялись за облака, справа четко был виден Уральский хребет, и под нами были

леса, леса, и в лесах дымили трубы: это дымят уральские заводы. А на заводе Чусовая—в ночи—я смотрел, как горит домна. А на заводе Лысьвенском в доме приезжающих за окном бежали рельсы, округ рельсов была сложена болванка, за окном и за заводским забором—в полудни—жгли светом и солнцем, зажатым в них, два мартена, и нас рабочие возили в эмалировочный цех, где при нас делали нам подарки—именные чайник и кружку (этот „дешевый“ подарок, как дорог он каждому из нас!..) А со двора эмалировочного цеха видны леса, леса...

* * *

...В Перми наш самолет „крестил“, „октябрил“ двухмесячную девочку: ее, девочку, называли Авиа, самолет носил ее в воздух, девочка была в одеяле, расшитом пропеллерами и самолетами,—внизу, на земле, девочку приветствовал оркестр, и кричали пионеры.

В Чермозе пилота Копылова пионеры избрали почетным пионером, приветствовали криками и надели ему на шею свой красный пионерский галстук; Копылов носит теперь галстук юного пионера и озабочен тем, как бы поскорее прислать ребятам литературы по авиации.

В Усолье, в городе, названном так потому, что он лежит на землях соляных, „подкаменных“, как сказано в летописях, в городе, где в августе Дедюхинский солеваренный завод праздновал двухсотпятидесятилетие, комсомольцы встретили нас... впрочем, я расскажу об этом дальше.

* * *

...Вот доклад крестьянина М. Борисова, доложенный односельчанам в Нердве. Доклад записан почти стенографически.

Вот он:

—Конечно дело, как я нынче ходил, значит, в город, на суд. Один добрый человек направил меня в крестьянский дом. Сидим это мы там, чаевничаем, а один товарищ и говорит: „Слышь, ероплан,—говорит,—в город прилетел, вот бы посмотреть“. Тут один человек и услышал это, увел нас кверху. „Вот, говорит, вам ордер, идите, говорит, на Каму, покажите его там, а то вас не пустят“. Ну, мы и пошли. Показал я бумажку старшему начальнику, посмотреть, мол, пришли, а он, еловый сук: „Давай,—говорит,—отец, поедem на еро-

плане“. Вот уж я напужался, а он и говорит: „Вот ты посмотри, как мы полетаем“. И полетели. Двое товарищей у меня убежали, я тоже хотел, да меня поймали. „Если,—говорит,—побежишь, пять милиционеров за тобой пошлем“. Думал, думал, пришлось остаться. А ероплан уж прилетел. Опять за меня принялись. Я не иду, а они подхватили меня под руки и повели, привязали там на ремень, чтобы не убежал. „Не бойся,—говорит,—отец, если упадем, то вместе“. Вот и поехали. Сначала это по воде ста полтора сажень летели, только брызги сыпались, а потом на воздух поднялись, вот уж страшно, летим, летим, потом вдруг сядем книзу аршина на два, а то и больше. Я поймался за начальника и сижу с ним. Он спросил: „Видал,—говорит,—Левшино? Нам—говорит,—только одну минуту лететь и там будем,“ а я хоть не был там, а сказал, что вчера туда ходил.

В это время докладчика М. Борисова перебили из толпы, крикнули:

— Говори громче!

Докладчик продолжал:

— Не мешай речь держать, хочешь громче, так иди сам, меня в Перми все начальство узнало, за квартиру даже в крестьянском доме не взяли. Вот и удостоверение дали: „Покажи, говорят, дома, что ты летал“...— Да, товарищи, хорошая штука еропланы, всем советую записаться в общество еропланов. Вот так и полетал, даже старший начальник по уголовным делам остановил меня на улице и спросил, как я летал. А потом завели меня в большой дом, в исполком что ли, посадили на стул, все спрашивают, как я летал, что на уме было,—я тут сознался, что сначала про себя матюгал на начальство и даже перекрестился, а сейчас, говорю, согласен лететь!.. Ну вот и все. Не думал, что в жизни доживу до такой радости. Спасибо за это, не забывают рабочие крестьян, сейчас я каждому скажу, что еропланы хорошая штука!“

Комментировать эту запись—сил у меня нет.

* * *

...„Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в раз'яренном океане“...

Это сказал Пушкин, народ это же говорит словами о том, что—смертельное манит: Пушкин не знал—упоения полета. Но вместе с Пушкиным все мы четверо, летящие на самолете, знаем:

„Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неиз'яснимы наслажденья“.

* * *

...О Перми—скучно писать. Этот город, понесший свое имя от финской народности пермь, скучен, как дробь, где делитель—Саратов, а делимое—Тетюши, или наоборот,—при чем революция из губернского города сделала Пермь окружным уездным. Обулыженный город не скрашен даже трамваем. Но в городе есть университет, песни и Закамье: это хорошо. Здесь можно достать хорошие папиросы, и на каждом углу чистильщик сапог: это не плохо. Мы увидели город из окон гостиницы „Пале-Рояль“, и под этим углом глаза—такими затхлыми пахнули и пивная для проституток за углом, и игорный дом—ресторан-казино, работающий, как сказано в афишах, круглые сутки, и дама-буфетчица, которая „случайно“ заходила к нам в номер, чтобы поговорить о „ламца-дрица“.

О Перми—скучно писать. Мы жили в одном номере, все у нас пропахло походом и холостецкой, походной псиной. По утрам мы работали: все уходило в мастерскую, где перебирался мотор, чистили клапаны; я сидел за походной своей канцелярией. Дни были жарки и скучны, и очень длинные. Наш брат, наш друг, наш судья—самолет—лежал обессиленный, с вынутым сердцем, потерявший силу лететь. Сердце самолета, разобранный, лежало в мастерской, его перебирали, чистили, перетирали. Мы ходили по земле, маслились, уставали, уставали следить за чистотой, натирали зловещие мозоли. В четыре мы шли есть и ели, как волки, по четыре порции за раз. Потом мы опять шли в мастерскую. Мы ходили по земле, самолет был вытащен на берег, его подкрашивали обидно-обыкновенной кистью и краской—и даже по земле его толкнуть возможности не было, ибо для этого надо десяток человек.

Мы ходили по земле, - но—

„Есть упоение в бою,
Есть упоение в полете!..“

Вечерами мы собирались все, чтобы говорить о полете, о воздухе, о стихиях, о смерти, о сотнях тех возможностей, что есть, что были, когда—как—гибли в воздухе, в полете—люди. Мы говорили так, потому что у нас была,—какое слово употребить, чтобы было верно? —тоска, скука по полете. Когда с большой высоты на самолете быстро идешь вниз, звенит в ушах, чувствуешь, как по жилам булькает кровь, стало быть, чем выше идешь от земли, тем спокойнее кровь, нет никакого звона: и есть, и есть подлинное, физическое, опьяняющее наслаждение полета, стремления,—как прекрасно думать там, в высоте!..

В номере у нас неяркая электрическая лампочка. Ключко, Тосик, лежит на кровати головою вниз. Вахламов от клопов стащил матрац на пол, под окно, лежит на нем. За окнами отгромыхали ломовики, вдали за Камой брезжит зеленое небо. Тихо. Надо бы спать... Но вот возникает разговор о том, как опылова на фронте, в тылу у врага, заштопорил мотор, как семнадцать верст он планировал в смерть,—и все же ушел от смерти, сел в полуверсте за нашими окопами. Вахламов рассказывает, как на его глазах погиб его товарищ, упав, сорвавшись с воздуха. Тося, Харитон Спиридонович, повернулся на спину, задвинул фуражку на затылок: „А то вот, на польском фронте“...—и нет конца рассказам о гибелях, о смерти, о героизме...—„Есть упоение в полете!“—„Всем советую записаться в общество еропланов!“ — как советовал докладчик М. Борисов, доклад которого приведен выше. А Пермь саратово-тетюшествует за окном, случайная и ненужная; ночь; скорее, скорее—вставить сердце в самолет, проверить сердце и—туда, в стихии, в упоение, в манящее смертельным!..

* * *

...И Пермь проводила нас пыльной набережной, душным вечером, оркестром, толпою,—десятком тех, кто с нами коротал знесь наши земные дни...

— Контакт!

— Есть контакт!

И:

„Есть упоение в полете!“...

Прах Перми скинут с поплавков и с нас, Пермь отсалютовала квадратами улиц, Кама серебряным поясом опоясала Мотови-

лиху, отдымила Мотовилиха, леса в Верхней Курье стали щетиной. Пропеллер рвет воздух, самолет рвется в стихии. Внизу, по займищам, скошена трава, и многотрудная земля там похожа на многотрудную воловью шкуру, облезшую от трудов. Сумерки, и вон из-за земли, из-за лесов красный, огромный восстает диск луны, багрово красит облако; это на востоке, а на западе красною раной уходит солнце, в кровь раскалывая облака. А земля внизу синя, туманна, в сизой дымке, и видно тут, и видно там,—как горят леса в лесных пожарах: мглился там, внизу, земля в дыму. Сумерки, и мирно здесь у нас: вперед, вперед, в леса, в подкаменные земли, в Соликамье...

* * *

Внизу, в лесах,—заводы. Здесь земли крепкие, как пот, просоленные солью, прожившие историю столетий (не даром солеваренный Дедюхинский завод здесь празднует двухсотпятидесятилетие!). От дней Ивана Грозного, от дней Петра завод здесь каждый помнит хорошее столетие, хорошие столетия крепостничества,—еще от „именитых“ Строгановых-новгородцев. И здесь заводы были—аристократические: Чермо́зский был за князем Абамелек-Лазаревым, Майко́рский — за Демидовым графом Сан-Донато, — Пожвой правил его сиятельство князь Львов,—завод Куви́нский и построен был, и правился семейством графов Строгановых, владетелей и покорителей Урала.

И все заводы построены, как один: леса кругом, глубокая здесь издревле лежала балка, по дну ее протекал ручей (или речуга), — и речугу заплотинили плотиной, иной раз верст на пять длиной: и с одной стороны плотины возникал огромный пруд, целое озеро, а с другой—в овраге, в ложине, под плотиной строился тогда завод; так делалось к тому, чтоб, кроме крепостных рабочих рук, пользоваться еще бесплатную водяную силу,—водою, допотопными турбинами пускать завод. Каждая такая плотина помнит столетие,—заводы стоят в сырости, в овраге, прокоптились, одряхлели, на заводах работают вручную,—на заводах в домнах и мартенах плавят чугун и сталь, как плавил столетие,—не каменным—древесным углем, деревом (и у каждой плотины—огромные сплавы дров, и пытит двигатель на лесопилке, готова топливо заводу). И направо и налево от завода, подпирая лес, в леса влезая, стоят про-

копченные, приземистые, широкопазные избенки рабочего поселка; рабочие здесь — полупролетариат: вручную льют чугуны вручную мнут болванку, а дома пахнут землю и пасут скотину (с такими горькими позвонками на шеях). Рабочие поселка остались здесь от крепостных и „государственных“ крестьян.

Впрочем, это все от старых дней: теперь, когда летим мы над заводом, обязательно увидишь, как на горе, в лесу новая встает шеренга домиков, в голландском стиле,—это строятся новые рабочие поселки. — В сумерки видно, как красным полымем отсвечивают домны и мартены, там, внизу, в лесах, на заводах.

...Красный месяц поднимается на востоке, красною раной уходит солнце на западе, защитившись огненными щитами облаков,—внизу в дымной от лестных пожаров, в синей мгле вспыхивает красная рана мартена. Это—Чермоз. Мы летим туда. Это—последний завод перед лесами подлинными, перед медвежьими подлинными логовищами, местами неизвестными, небывалыми,—где даже Центр-Авиахим снял с нас ответственность за нашу жизнь и за целостность самолета... Мы садимся на чермозский пруд,—и на берегу нас встречают колонны рабочих по цехам, колонны пионеров, колонны комсомольцев со знаменами, с плакатами, гремит оркестр „Интернационалом“: так всегда на заводах. Здесь, на земле, все стало на свои места: озеро, трубы завода, леса, человеческая жизнь; и на своем месте вот эти тысячи рабочих, что пришли приветствовать нас,—те, кто сделал революцию, кем революция жива.

Эту главу я начал докладом крестьянина М. Борисова, — я писал уже, как встречают крестьяне самолет: сейчас я докладываю, как встречают нас рабочие в этих лесах. От этих шеренг и колонн, что встретили нас на берегу, вышли делегаты. Оркестр гудел в леса „Интернационалом“. Пионеры стояли с руками над головой, „всегда готов“. Вахламов именем экипажа самолета приветствовал рабочих от тысячи рабочих Москвы и от миллионов друзей Воздухфлота. И тогда десяток ораторов приветствовал нас: в нашем лице приветствовалась революция, братство рабочих, братство рабочих всего мира, революция во всем мире,—воля к прекрасному, воля к культуре, к знанию, к победам,—к победам всюду. Каждый раз на таких митингах я думал о том, какая огромная воля спаяла сейчас безвольную обыкновенно Россию. Если

бы в лесу, верст на пять к заводу (а здесь и в версте от заводов медведи мнут скотину), если бы в лесу, верстах в пяти от завода, оказался бы в час митинга медведь,—должен был бы он убежать стремглав и в страшном страхе от того „ура“, которым приветствовали самолет и речи самолета рабочие, — рабочие, пришедшие из этих лесов. На крыло вползает пионер, его голос звонок, его голос неуверен, он все время оскальчивается голосом: он приветствует от юных пионеров, он от лица всех пионеров приветствует пилота Копылова избранием его в почетные пионеры завода Чермов и тянется к шее Копылова, чтоб надеть ему красный галстук.

...Но уже совсем стемнело. Мы привязываем самолет к земле за крылья, накрываем его чохлом. Нас ждет моторная лодка. Едем на берег, идем плотиной, по пескам и пылям—под заводским забором, во мраке—пробираемся в приезжий дом. Спать! спать!

Утром я ходил на завод, смотрел, как из кусков чугуна („штыкового“, „полового“, „изложницы“, „скордовника“), почти вручную, почти первобытно, почти как при Петре, выковыывают кровельное железо. В мартене, конечно, зажат кусок солнца: туда надо смотреть через синие очки. Но солнце мартена становится простою серою болванкой. Болванку эту разогревают в сварочном цехе, и с помощью десятка рабочих и прокатного станка красное тесто железа раскатывают в длинные полосы, как хозяйка, когда она хочет такими полосками покрыть пирог. Потом эти скатки нарежут на куски, почти вручную. И куски пойдут в железопрокатный цех, вновь их раскатают, вновь их будут катать, как хозяйка скалкой тесто на пирог. Потом эти листы обрежут, проверят, промаслят, сложат—и будет готово кровельное железо. Потому что здесь работают первобытно, здесь на каждой пачке железа мастер пишет свои имя, отчество и фамилию, чтобы—по семейному—знать, кто сделал, кто-нибудь Иван Петрович Климов. Там, где надо железо размять, прокатать,—там работает молот, сила, силу получившая от воды, ничуть не сложнее, чем на наших деревенских водяных мельницах, где, как сказывают старики, проживают водяные... На заводе тесно, копотно, все старо, все завалено мусором, вагончики таскают лошадьми.—Мне сказали, что завод работает, превышая довоенную норму, и что программа на будущий год трижды увеличена.

Вечером, опять в сумерки, опять в закатном солнце и рядом с луной, мы улета́ли с завода Чермоз. Нас пришли провожать рабочие. И с крыла самолета была прочтена корреспонденция рабочего завода, шестидесятидвухлетнего старика, корреспонденция в его цеховую стенгазету. Эта корреспонденция никак не похожа на доклад М. Борисова. В этой корреспонденции говорилось о том, что „Я, шестидесятидвухлетний старик, поднявшийся 4-го августа 1925 г. в воздух над своим родным заводом, приношу свое русское рабочее спасибо революции, поставившей своей задачей нести народу культуру и знание“.

...Но мы опять в упоении полета. Из Чермоза мы полетели в Усолье, бывшее село Соликамского уезда, ныне город (причем Соликамск стал селом Усольского района). Нас комсомольцы там встретили стариннейшим русским приветствием: все четверо мы, поднятые на руки, полетели в воздух. Комсомольцы называли себя кратко—комса („Качай их комса, выше, валяй, комса!“). Над сотней рук мы взлетали в воздух и падали на сотни рук, чтобы вновь полететь ввысь. Это совсем не то, что лететь на самолете,—это много менее удобно, но—как сказать, какими словами передать то чувство благодарности, хорошей неловкости, товарищественности, которые сразу нас—чужих, прилетевших с воздуха—сразу сделало нас и товарищами, и собродягами в земном пути к будущему с этой усольской, соленой и ушкуйной „комсой“?!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ ИЗ ПУТЕВОЙ КНИЖКИ

Заговор на разлученье:

„Чорт идет водой, волк идет горой, они вместе не сходяща, думы не думают, плоды не плодят, плодовых речей не говорят, так бы и у раба божья (имя рек) с рабой (имя рек) мыслей не мыслили, плодов не плодили, плодовых речей не говорили, а все б, как кошка, да собака, жили“.

* * *

..Копылов, когда ведет самолет над землей, не карту сверяет с землей, а землю с картой, ибо карта лежит вот тут, на коленях, на ней все видно, а земля — там, внизу, растворяется в туманной сини. Очень обидно: когда стоишь там, на земле, видны угорья, холмы, долины, сверху все это ровно, нет рельефов, только разве отроги Урала на горизонте направо да громады облаков, которые ползут рядом, только они имеют рельефы; но облака могут быть мне нужны только для сравнений и образов, а уральские взгорья — не в счет. Я смотрю кругом и вниз: чем дальше к северу, тем больше лесов, тем реже деревни, тем меньше полей, — изумрудствуют внизу леса, если светит на них солнце, — синеют внизу леса, если пала на них тень от облаков, вот тех, что рядом с нами. Я знаю: мы в местах, где на тысячи верст леса, где жалуются уже не на волков, а на медведей, где нет железных дорог. Не случайно я начал с заговора, записанного здесь, в этих землях, этой весной... Но в этих лесах, в этих бездорожьях течет древнейшая река Кама. Там, внизу, живут люди, трудятся, заботятся, строят, живут. И из-под облаков на землю садимся мы, чтобы спать, пить, говорить: мимо нас течет жизнь, мы видим ее отрывками, мы из полетного нашего быта попадаем в тишину

полей и сеновалов, в тоску уездных гостиниц, в грохоты пристаней и заводов, залегших в этих лесах.

Кругом леса и „заговоры на разлученье“, это — фон; но на этом фоне ткутся многие, новые и старые, тканья. Люди, встречи, разговоры текут между пальцев: мы в полетном стремлении.

Вот о том, что течет мимо нас (или, точнее, мимо чего протекаем мы), об этом эта глава.

* * *

Леса, леса... Заговоры на разлуку, медведи, лесные пожары — —

Наш капитан Вахламов, старый солдат революции, имевший в Красной армии на рукаве два ромба, признался мне, что, когда он видит пионеров, когда пионеры говорят и приветствуют, — у него, у старого солдата, сжимается горло и ему надо сделать усилие, чтоб не заплакать. Это бывает, должно быть у многих, потому что это же есть у меня. Нас, наш самолет встречают всегда многотысячные толпы, со знаменами, с музыкой, с речами, иногда с конной милицией...

В Сарапуле нас встретила десятитысячная толпа, — и впереди стояли отряды пионеров, со своими знаменами, с барабанным боем, со своим речитативом, который перекрикивает весь гам толпы.

В Елове, в районном селе, нас встретили пионеры, — в лесном селе и девочки, и мальчики были одеты все одинаково, в блузку, в шаровары, с красным галстучком на шее. Их было несколько сот.

В мертвом городе Осе, худшем, чем тот, который в гоголевском „Ревизоре“, в городе, где железная дорога в ста верстах, который революция переделала в село, в котором почтмейстер помножен на фельдшера, — нас встретили шеренги пионеров, и пионер вскочил на крыло самолета, чтоб крикнуть о том, что пионеры „всегда готовы“ (чтоб сжать горла мое и Вахламова в судороге слез и нежности, и благодарности, — не меньшей, чем лысьвенские чайники!), — чтобы потом проводить нас к себе в Дом Юности, проводить нас своими шеренгами и песнями, — и прекрасными лицами, смехом, улыбками.

Надо ли комментировать этот подглавок!?! Мне очень больно, что мне тридцать, а не десять, ибо тогда обязательно я был бы пионером, обязательно, обязательно я нес бы с

честью рыцарство пионеров. Многое скидывается со счетов многое накидывается на весы справедливости, на весы революции—тем, что из лесов из Еловых, из Ос—рати идут пионеров: ведь так много скинуто с наших счетов тем, что мы не могли быть пионерами.

Ведь это все в странах, где нет кинематографа, ибо нет на него средств, и никто в него не ходит; где железная дорога—обязательно в полутора-два верстах; где летавшие просят письменное удостоверение в том, что они летали, ибо иначе им не поверят, где „гидро“—план как-то производят от „гидры“ контр-революции, а слово „пилот“, превратив в „пилата“—связывают с Понтием; где студентка Лида не так давно, тринадцать лет тому назад, когда она была в возрасте пионеров, пела „Афон-гора, гора святая“,—а нас частенько спрашивают: к добру или не к добру прилетели мы?—а корь лечат заговорами!..

...Старые песни, старые обряды, кумышка, пивко, свой говорок, с четко подчеркнутыми „ко“ (поди-ко), „ли“ (ходил-ли) „коли“, „ведь“. На базаре можно купить за трешницу медвеженка, редакционный народ пермской газеты с медвеженком вместе живет. Народ все здоровый, крепко скроенный, медлительноватый, чуть грубый, но верный, упорный, правильный. В мамадышском кантоне найдена была деревня, про которую никто не знал, и которая ни про что не знала. Кружева можно купить в деревнях, шитье, демоткань такие, за которые в Москве и в Америке надо получить весным золотом. Татары, мордва, чуваша, вотяки, пермяки...

* * *

Зеленый, тихий вечер, крапал дождь и перестал. Лес стоит безмолвный, ельник и сосна, под ногами песок. Ночь тиха, зеленовата, сумрачна. Ноют комары. Прислушиваюсь, слушаю, как в просторном мраке, неподалеку позвякивают, глухо, медленно, ботала на шеях коров, на разные тона, точно играет маленький органчик. От этого органчика и от этой тихой ночи так покойно и такой мир. Студенты разложили костер от комаров, пели около него песни. Присматриваюсь в белесом мраке: лицо русской девушки, широкое, здоровое, белокурое—только глаза за пенсне: какие? как определить? Лесные глаза! Она говорит медленно, очень на о, очень открытые звуки.

Она кончает в этом году университет. Ее зовут Юлга-Елень, по русски—Елена. Она зырянка. Она очень спокойна,—только эти глаза, какие? Как определить? Лесные глаза, очень близорукие, когда она снимает пенснэ. Я говорю шутя:

— Что же, в детстве водили вас молиться вашим богам, в лес? Я видел этих богов в музее.

Она отвечает спокойно:

— Я из-под Усть-Сысоля. Там мало уже молятся старым богам. Это сохранилось в глухих местах.

— Ну, а вы, в детстве, все-таки ходили?—допытываюсь я.

Она молчит, уклоняясь ответить. Потом говорит:

— Я из самой обыкновенной крестьянской семьи, у меня рано умер отец, и меня взяли в город.

Я почти ничего не знаю об этой девушке. Мне неудобно было расспрашивать ее, ей неудобно было (или не хотела) рассказывать мне. По возрасту она старше, чем обыкновенно кончают высшую школу. Она зрелее своих товарищей. Так, обрывками фраз, я знаю, что ее создала революция. Плоты вывезли ее в Казань, из лесов,—теплушки перетащили в Пермь. Она уже была и конторщицей, и учительницей, и умеет мыть полы. Помочь ей некому: право на жизнь она берет сама (мы ходили в кинематограф целой студенческой компанией, у студентов нет за душой гроша на кинематограф: она отказалась, чтобы я заплатил за нее четвертак). Она говорила, что, окончив, она поедет на родину, к себе на Коми—отдать там свои знания. Она идет в жизнь очень спокойно, очень твердо,—Юлга-Елень. И, конечно, она права, когда не очень позволяет мне залезать любознательностью в ее леса и в деревянные ее богов, которых скинуть сможет она сама, да и должна скинуть сама. Голова у нее повязана, как повязываются зырянские девушки.

...Я присматриваюсь: русская девушка,—только вот эти глаза за пенснэ—какие?—Как определить?—Не знаю.

Леса, леса,—лес стоит безмолвно, притих, только ноют комары. И поют свои песни студенты. Из этих лесов в университет выбрела Юлга-Елень. Ее создала революция, потому что революция ее отняла от звания и труда „домашней хозяйки“ в городе, у тети,—опростав от всего, дала ей в Перми университет. Ее подруга и товарка, Лида Скороходова, говорит со мной о символизме, о Белом, о последних течениях и спорах в литературе: я думаю—интеллигентка. Но я—плохой знаток

вещей и обстоятельств. Лида рассказывает мне о своем житье-бытье: крестьянка, рядовая крестьянка, из-под Вологды, отец умер, мать пашет вместе со старшим братом, старшая сестра ходит в снохах, сноха и мать неграмотны. Лида кончает университет, она изучает русскую литературу, она имеет суждение о столетии русской культуры. Лида рассказывала, как ей, им, студенткам, вместе с Юлга-Елень, приходилось жить. Теперь они живут очень хорошо, потому что получают стипендии десять рублей в месяц (!),—но раньше было плохо,—ходили мыть полы, стирать белье. Раз на рождество, разговляясь, Лида съела сразу весь праздничный запас—семь фунтов белого хлеба (!), а к пасхе купила себе—селедку. Белого хлеба нет в обиходе студентов.—И опять—о литературе, об искусстве, споры. И опять о детстве: о том, как мужик сошел с ума, помешался на голоде, ловил на сухом месте удочкой рыбу, да там и помер,—о Коле Мухрее, вообразившем себя домовым и в кормушку к лошади переселившемся спать и жить,—о том, как в детстве она пела „Афон-гора, гора святая“.—Очень странно, очень хорошо!..

Я думаю, знаю: в Чистополе или в Сарапуле: прадед пришел в лаптях, дед носил сапоги бутылками, торговал мукой или кожами, отец был „градским головой“ и обувался в счиблеты, с ушками, а сын кончил университет, стал врачом, инженером, филологом; это обыкновенный путь возникновения интеллигенции; интеллигенция, носительница мозговой, духовной культуры данной среды, возникает тогда, когда эта среда накопила средств, досуга, навыка, чтобы выделить из себя мозг: интеллигенция есть завершение социальных строев. Юлга-Елень и Лида—должно быть, рядовые студенты. Пусть они учатся на гривенники: та среда, которая отпустила их, стало-быть, созрела, чтобы родить интеллигенцию?—я это спрашиваю. Они: Лида и Юлга-Елень, созрели, чтобы нести честь интеллигенции, новой, от революции,—это я утверждаю!.. Юлга-Елень поедет к себе на Коми, а Лида собирается, окончив университет здесь, ехать еще в Москву, изучать новую дисциплину знания: это будет уже высококвалифицированный интеллигент.

* * *

Я внимательно присматриваюсь, кто как садится в самолет. Сесть надо так: пройти по мостку до поплавок, на поплавок

мы кладем доску, и каждого просим итти по ней, чтобы не помять риданы; там по лесенке надо подняться на крыло,— и опять мы просим итти по рейкам, чтобы не помять ногами крыло; там надо пройти в дверцу и сесть в кабину.

Крестьяне в здешних местах поголовно все ходят в лаптях. Крестьянин со священным уважением подходит к самолету. По поправку он идет на цыпочках, ему неудобно, он стыдится своих ног, и по крылу он просто уже ползет на четвереньках: и всегда на минутку, на момент задерживается у дверцы в кабину, пораженный роскошью кабины. В нескольких местах, по безмолвному уговору, крестьяне разувались и мыли в воде ноги перед тем, как полезть на самолет. Крестьянин садится в самолет покорно, безмолвно,— иной, когда зарокает пропеллер, сиганет глазами туда-сюда, отвернется незаметно в сторону, да и осенит себя, на всякий случай, крестным знаменем. Когда крестьянин выйдет из самолета (так же ползком) после того, как полетал, он обязательно скажет, что-нибудь вроде такого:

— Век прожил, не знамо за што!

Или:

— Приходится полпуда отдать, надоть помочы!

Рабочие садятся деловито. Рабочий, прежде чем сесть, спрашивает Вахламова и Копылова,—да какой у самолета двигатель, да сколько сил, до какова быстроходность, да из чего самолет сделан, да сколько жрет (обязательно „жрет“) горючего?—решит:—„эх, на нашем заводе такой штуки пока не построишь“—и полезет в самолет толково, как указано, подпоясается ремнем, потрогает все пальцами:—другой-третий, возьмет с собой карандаш и бумагу, чтобы сверху зарисовать „план местности“. Когда слезет с самолета, толкует „технически“,—на сколько поднялся, что видел, покается, что зарисовать ничего не успел, очень одобрит машину, терминов иностранных, иногда и ни к чему, насыпет ворох, одобрительно, дельно.

Хуже всех и вообще плохо забираются в машину ответственные работники. У них нет уважения к машине, они скептики, им все равно, у них вид Чайльд Гарольдов,—им говорит Копылов: „идите по доске!“, но они идут по риданам; потом они хотят стать не на рейки, а на крыло,—тогда Копылов уже не говорит, а просто за плечо ставит их на место,—и они краснеют в обиде. У многих из них ненужно повисли в воз-

духе их голоса, потому что они необходимым находят, выходя из самолета, крикнуть приветственное слово, этак лозунгнуть и от напряжения ступают не туда, куда надо,—и их ставят на место, чтоб не испортили и их „да здрав!“—повисает в воздухе. (Тут к слову сказать: мы не принимаем участия в распределении мест для полета,—и нередко случаи, когда местные работники перебарщивают насчет катания самих себя).

* * *

Чем дальше мы летим к востоку и северу, тем, казалось бы, мы уходим в места и более глухие, и более дикие. И я констатирую: чем дальше мы уходим на восток и на север, тем лучший и лучший встречает нас народ—здоровее, проще, толковее, покойнее,—нет нашей подмосковной „хитрецы“, рабственности, забитости, физической истощенности. Быть может, это потому, что быт и климат здесь суровее, и человека заставляют быть суровее, покойнее, деловитее; быть может, потому, что здесь не было крепостного рабства.

Встречают нас везде по-разному, но всегда тысячи народа, но всегда с большою радостью. Лучшая встреча была на Лысьвенском заводе, потому что там—мы прилетели в 7 утра—нас повели в рабочую столовую, напоили молоком, накормили земляникой и отвели в приезжий дом (единственный дом за всю нашу экспедицию, где нас не ели клопы), оставили нас одних, чтобы мы могли поспать и отдохнуть; потом нас повели на завод, в цеха, показать свое производство; потом в столовой же, как все рабочие, мы пообедали и пошли на работу—на митинг и на полеты; после полетов нам подарили по чайнику и по кружке, на память от рабочих и работниц, на дорожную память. И потом мы улетели. Хуже всего нас приняли в Д—ском районе (тоже завод, но консервированный, безработный); мы прилетели туда в семь утра; нас повели к кому-то на частную квартиру, и с семи утра были за столом и водка, и портвейн, и — ну, убавлю, никак не увеличу—полведра пива; спать нас никак не отпускали, говорили все речи о здравии авиации и революции, а пиво весь день за нами и таскалось так, что уже на берегу в трактире я почувствовал себя героем Демьяновой ухи и взмолился, — так, что в пивной мне даже конституцию гостеприимства нарушить пришлось нехорошими словами. Вещь ясная: я судить не собираюсь, бескуль-

турье, безделье; встретили они нас, как родных, душу положить хотели, ну и оказалось некоторое начальство, местному населению на-смех, к вечеру под мухачом,—местному населению на смех, а нам на величайшее смущение и никак не удовольствие.

... В Осе, городе, отгородившемся от всего стоверстными путинами, пионеры нас отвели в дом юности. Это был день освобождения Урала от Колчака. Впереди пионеров шла музыка. В доме юности было торжественное заседание в честь освобождения от Колчака и в честь нашего прилета. В доме юности все стены были в детских плакатах и стенных газетах, там были очень большие, светлые окна, и, по правде, в этом доме говорились очень большие, очень светлые слова—о всей России. Мы не богаты датами, у нас все аршинится десятилетиями в лучшем случае,—мы очень молоды, я пришел в осинский дом юности из воздушных стихий, я шел туда в шеренге с пионерами, под медный гул оркестра,—окна были очень светлые.—Я думал о доме юности, имя которому—Россия.

* * *

Мимо нас протекают провинциальные гостиницы, с их жителями, с передвижными труппами актеров, которые в столовых едят только первое, а в номерах спят на полу; от скуки в гостиницах я прошу „чего-нибудь“ почитать, и мне приносят книги издания сорокового года, без начала без конца; однажды к нам зашла „дама“, извинилась, спросила, не нужна ли — „ламца-дрица“ (так и сказала) — нам барышня... Кто-то с утра пьет за стеной. Кто-то за окном гоняет голубей...

* * *

... Мы встаем зорями и летим — дальше, дальше. Вот мы уходим за облака. Облака идут под нами. Лермонтов очень верно сказал: караваны облаков. Караваны идут под нами. Солнце на уровне нас. Я смотрю, я вижу: я точно вижу, что мы не здесь, над Камою, но мы в Арктике, там, где я был летом 1924-го года. Те облака, что над нами, это — небо и глетчеры вдали, они розовеют от вечного дня и солнца, они медленны. Те облака, что под нами, это — льды, которые идут по сини моря, леса вдали, внизу, слились в синь моря, во мгле: конечно, Арктика, вон какая большая льдина плывет на нас, вон там, на горизонте, стал глетчер, вон заторосились айсбер-

ги. Какое странное солнце в Арктике: оно не идет, высоко, но оно вечно, если там лето... Но вон там впереди, что это такое, облака, или... — „Видишь, вон Уральские горы?“ — кричит мне Вахламов.

Но вон там, впереди, облака синеют, свинцовеют, мелкие тучи собираются к ним, там идет тучища. Мы летим туда. Там земли не видно. Там, внизу, где должна быть земля, — синь и мрак, которые не пускают туда глаз, в эту синь закуталась лента Камы, сокрылась от нас. И чуть влево от нас, под нами полыхнула молния, и гром перекричал пропеллер. Гроза под нами. Мы летим вперед: мы единоборствуем со стихиями, ибо вот нас кинуло вверх, вот брошены мы вниз (когда быстро падаешь вниз, звенит в ушах). Мы летим над грозой, мы огибаем ее, под нами — слева — свинцовая синь, мы видим потоки дождя, там полыхают, спешат молнии, а справа от нас — безбрежный простор солнца, небесной сини, земли в золоте солнца, лазурной лесной сини, дали... — Молния, гром, кинуло вверх, и сейчас же вниз, на момент, звон в ушах, — и видно, как затрепетала машина, как крылья уперлись в воздух, зазвенели крылья: быть может, мы на момент остановились в лете, так кажется, но вот самолет опять уже рвет стихии, рвет облака, рвется вперед, вперед...

... И вечером на земле (здесь уже холодные ночи, надо одеваться потеплее, придется в Чердыни купить оленью куртку), усталый, я смотрю на леса и холмы, что округ нас, вспоминаю огни домны, вспоминаю лес, — леса, леса, —

и думаю, почему я не знаю заговора — не на разлученье, а на сговор — на тот сговор, которым живет Россия.

ГЛАВА ПЯТАЯ

СОЛИ КАМСКИЕ

... нас умывают рассветы: Кама—наш умывальник, небо—наше полотенце, красные кони горящего востока—кружева на полотенце, синие леса на земле—та овчина наша, на которой коротали ночь мы. И самолет наш—совсем не „Юнкерс“ на поплавках, не сказочный даже горыныч: летящий комок мыслей и революции самолет наш, прилетевший в эти места, чтобы делать революцию, чтобы делать революцию — сталью и знанием.

... сказано о том, что Петр есть камень, но Петр же есть и соль земли. Урал здесь называют Камнем и земли подуральские—подкаменными. Все здесь пропитано солью, на завалинках у новых изб кладут здесь соль, чтобы солнце втопило соль в дерево, ибо тогда стоят избы столетиями. На солях камских нет ни чахотки, ни тифа, ни холеры, а деревья округ растут в сорок аршин ростом и в два человеческих обхвата.— „Время застит,—время закрыло“,—сказал мне товарищ Батин, но я все же вижу через века, как просолились эти места еще от Ивана Грозного, заселителя „Перми Великой—Чердыни“, и Солей Камских,—как засолилось время „именитыми людьми“ Строгановыми, царями Василиями-собираателями подкаменными (дом от Строгановых и собор стоят в Усоли); здесь я узнал имя Ермака, покорителя Сибири—Василий Тимофеевич Аленин. Время застит,—но видно, как Турчаниновы в городе Соликамске растили для санкт-питер-бурхского ее величеств Екатерины и Елизаветы двора,—растили бананы! „Именитые же люди“ Строгановы ушкуйное, сиречь разбойное, происхождение свое от вольной великоновгородской вольницы,—засолили надолго.

Встретили нас в Усолье я писал уже, тем, что с воздуха самолета мы оказались в воздухе над сотней комсомольских рук: так встретило нас Усолье...

* * *

... Утро. Летуны ушли на берег, на полеты. Я остался один в номере, чтобы сидеть над машинкой (и приходила ко мне сторожиха с чаем, с пирогом, с черникой, со сливками, с пышками, очень сытно; я спросил ее, сколько я должен ей, — и она замахала руками: — помилуй, батюшка, гость дорогой, помилуй!). Так, вот, сидел я над машинкой, а за окном была провинция, как столетье, хуже гоголевской, с заборами в версту, с деревянными тротуарами, с пылью в поларшина, со строгановским собором и с домом строгановским за углом (и отбивали на соборе часы каждую четверть малиновым звоном), — с домами мамонтовской сосны и резными крыльцами, — не гоголевская провинция, а — ссыльная! И как раз против моих окон было отделение местной народной милиции. Окна в милиции были открыты, все там было мне видно. На реке заревел пропеллер самолета. Тогда из дома милиции на двор выбежал человек в форме; на дворе стояла оседланная лошадь; он вскочил на нее и помчал; вслед за ним на улицу выбежал второй человек в форме; он махал руками и орал: „Назад!“ — Тот, что мчал, тоже махал руками, но ничего не ответил и скрылся за углом. По улице шли рысцою пешеходы. Тот, второй, последний раз махнув рукой, вернулся в дом и стал названивать в телефон. — „Райком?! Райком?! Вася, слышишь, Вася, у меня все убежали, ничего не могу поделать. Митя и тот ускакал сейчас... Что?.. смотреть, как летают!.. Вася, Вася!“ — вдруг его голос оборвался на Ва, он бросил трубку, вылетел на улицу, подстегивая на ходу кабур, крикнул что есть мочи: „Закрывай лавки, складай удочки, — все на полеты!“ И карьером на своих-на-двоих помчал за угол, за строгановский дом. Улицу помело ветром, — в две минуты все как языком слизнуло. Милиция с открытыми дверями осталась пустовать. В день полетов Усолье не работало. На ночь в день нашего прилета охранять самолет прислана была полурота коммунаров. И в тот вечер, сидя в кооперативном трактире за стерляжьей ухой, при чем трактир специально для нас отпирался, мы узнали последнее событие Усолья: о поджигателях. Появи-

лись в городе поджигатели, говорят, подбрасывают записки, говорят, ходят с портфелями, говорят, весь город спалят; во всяком случае на улице „III Коминтерна“ (так и написано на заборах) или, быть может, на другой улице, в течение двух дней загорались дома, и—каждый раз через дом.

* * *

Я полагаю, что улица в Усольи не случайно названа „III Коминтерном“, ибо для строгановского соликамства мало Третьего Интернационала,—нужен Третий Коминтерн!

* * *

Здесь прокуратура рылась в советском законодательстве, чтобы подыскать статью, коей карать бы нижеследующее масовое деяние. Роят могилы детей, отгрызают (обязательно зубами) руку ребенка и сушат ее. Сушеную руку носят с собой охотники по лесам и жулье, ибо эта рука отведет и руку закона, и лапу медведя. Запрашивали центр, как поступать с виновными в таких деяниях?

Павел Андреевич Батин, коммунист, рабочий, краевед и литератор, редактор местной газеты, жаловался мне, что много находят костей мамонта и никак их нельзя донести до музея: потому что местная народность пермь считает кости мамонта му-няню—земляным хлебом, целебным средством, и ест его. Недавно нашли целого мамонта, и две деревни собрались его есть. С'ели!..

Здесь есть села, целиком зараженные сифилисом (несмотря на то, что на соленых землях ни чахотка, ни тиф, ни холера не берет). В такое село заехал ссыльный. Был он на грех человеком здоровым. Пришли к нему местные крестьяне. Посмотрели его, потрогали, ничего не сказали, ушли. На другой день пришли к нему старики, мирно, сели, сказали: „Слово скажи, скажи слово!“

— Какое слово?

На здоровье. Почему ты здоровый!

Правильно ссыльный сказал, что никакого слова он не знает. Мужики на слове настаивали и соглашались за слово заплатить. Слова ссыльный не знал и не сказал. Мужики ушли. Но на другой день они пришли вновь,—с дрекольем и топорами: „Слово скажи, скажи слово!“ Ссыльный сказал, что слово он скажет завтра,—и ночью сбежал из этого села, прибежал полусумасшедшим в город...

У реки Доеги в деревне медведь у двух крестьян по корове задрал. Мужики решили медведя извести. Выследили, где он проживает в лесу, круг по лесу вокруг медведя отметили, наложили костров, да и запалили лес. Сгорело лесу десятии полтора ста. Сгорел ли в лесу медведь, неизвестно,—должно быть, убежал...

На реке же Доеге, в Майкорском районе,—земли ведь, здесь подкаменные, надкаменные, рудные, магнитные, серебряные, золотые,—так вот, на реке Доеге лесник нашел поляну, и на поляне глыбами лежало освинеченное серебро. Сообразил лесник, что ежели про это серебро прознают,—понаедут старатели, начальство, народу навалит,—мирному его житию конец придет, суматоха будет: навалил на полянку лесу, сжег, еще навалил, еще сжег,—сокрыл поляну по-добру, по-здорову.

За Полюдовым Камнем, на хребте шел инженер. Сыскал избушку. Живет крестьянин. Так, и так, мол,—жизнь. Крестьянин свел его к ручью, копнул лопатой, рассыпал с лопаты:—„смотри, господин инженер,—чистое золото. На золоте живу, а хлеба нету!“

Есть в этих подкаменных и остяки, и вогулы. Так там мандаты даются так: „сельский совет, РСФСР и прочее“,—а потом просто хлебом приклеено гусиное перо и крестик по неграмотности. Там на сотни верст реки да леса. А мандат такой—золото: значит, он:—„вези такого, как перо!“—И мчат остяки и вогулы с такими мандатами людей—на лодках и на телегах—со скоростью паровоза:—летят, как перо!..

... Ночью в Усолье ходят с колотушками, стучат колотушки: караулят,—поджигателей. Днем, я ходил в местный исправдом, осматривал: сидят там трое подозрительных,—ничего, просто парни, как парни, без портфелей...

От строгоновских времен—просоленный сохранился быт. Подкаменные земли, ушкуйные памяти. Земли изобилуют и промышляют люди—зверем, лесом, рекою, камнем, солью. Направо, налево, кругом,—сотни верст леса и камня. Быт просолился Грозным, Строгоновыми, Петром I. Крепостное право здесь отмерло—не в 61-ом году прошлого века,—а этак лет десять тому назад. Впрочем, хаить народ очень не следует: лес, зверь, камень, Кама сделали людей такими же крепкими и кандовыми, как лес, зверь, камень и Кама.

По праздникам ходят закамские на эту сторону: этак соберется человек двадцать—тридцать друзей, вооружатся дрекольем, топорами, вилами,—жердью сажени в три длиной,—и идут по улице, на этой стороне. Встретят человека: „взгреют“. Песни поют. На стенку лезут. „Стремно“ идут,—„шухорно“ на свет белый поглядывают. Самое большое удовольствие,—„тесто мешать“: прошибут жердиной раму и месят ей в избе, точно тесто скалкой в окарене. Потом уйдут к себе за реку. Через неделю, эта—сторона на ту отправляется—тоже с дреклом, топорами, вилами, с косами-которыхами,—на той стороне рамы выставляют. Делают это мирно, неспеша, толково; иной раз человека убьют,—тоже дело невеликое; надо же мужикам ушкуйное раззудить плечо.

* * *

... По эту сторону Камы—трубят трубы солеваренных заводов,—Усолье. По ту сторону, дымят заводы—Дедюхинские, заштатного города, соли. Вдали дымит божебананный город Соликамск.—Сели с Батиным на лодку, переплыли Каму. Дедюхинский завод справляет двухсотпятидесятилетие: так это двухсотпятидесятилетие—не со дня его существования, оказывается, а—с того момента, как забрали себе завод местные монахи. Жил завод под именитой рукою именитых Строгоновых. Перестраивался завод последний раз при Екатерине,—так с тех пор и стоит. Давно бы пора его на слом,—но бревна его просолены навсегда, и он стоит, соль варит. Паровая машина на нем от 77-го года, от Турецкой кампании: раньше работали лошадьми (как и до сих пор работают на кое-каких заводах). Показывали мне в Дедюхине амбар, коему двести тридцать лет: стоит. От времени бревна порыжели, побурели,—лупится на них соль, вылезла на них соль кристаллами и стекает сосульками, точно мороз в сорок градусов. Водит нас по заводу староста и мастер Петр Васильевич по фамилии Москва, человек видевший все на свете, что есть кругом этих мест на сорок верст: дальше он не бывал. Привел нас на „скважину“: глубокий колодезь, в него вставлена труба, как в самом обыкновенном колодце; качается над колодцем насос,—выкачивает „рассол“: пахнет рассол серо-водородом, отвратно. Над скважиной сделана крыша, с петухами, чуть покосившаяся. Рассол по желобам течет в чаны. Сделана над чаном крыша, обвисла крыша сосульками соли, изукрашена кристаллами соли. Из чана,

по мере надобности, поступает рассол в варницу, в новый чан, который называется грено. Под греном находится печь с тягой в трубу саженной в пять высотой. Варница похожа на соляной амбар, на такой, какие есть в каждом старом русском городе, оставшиеся от соляных откупов,—только, варница из дерева. Печь под греном горит, вода испаряется и соль садится на дно грена, алмазами. Оттуда, со дна, собирают соль лопатами и кладут ее на полати над греном, чтобы сушилась. Проведены в варнице рельсы: нововведение; на них—руками, конечно,—вывозят в амбар соль. Вот и все производство соликамской соли, столь древнее, что соли эти перепадали к пирам и Грозного, о чем есть старинные грамоты. Рабочие на заводе ходят просоленные солью, хрустит она на них, поблескивает. Петр Васильевич, по фамилии Москва, объяснил мне, что на солях не бывает ни чахотки, ни тифа, ни холеры: очень полезно на соли работать. Но зубов у рабочих нет ни у кого. Впрочем рабочими их трудно назвать: надо какое-то иное слово: старатели, что ли. Революция эти заводы закрыла, отдав их в ненужность. Заводы пустили сами старатели: работают артелями, никаких инженеров и в помине нет,—всем управляет староста. Вечевая артель здесь еще здравствует. Это—не плохо. Машина 1877 года, которая из скважин качает рассол, очень копит. Соль блестит сорокаградусным морозом. Завод в день нашего прилета—стал: старателей слизнуло с него всех до чиста к самолету.

* * *

...Усолье встретило нас тем, что мы полетели в воздух. Усолье не ждало нас, ошиблось на несколько часов, не пришла телеграмма: и мы видели с самолета, как карьером мчали извозчики, верховые, как потоками катился народ. Стали мы верстах в двух от города: предстал пред нами весь город в две минуты,—комса понесла нас в воздух, а остальные стояли в безмолвном ужасе (потом, в полеты, один крестьянин, спрыгнув с самолета,—запрыгал вдруг теленком от радости, без лишних слов). Самолет окружила полурота. Взмыленные лошади конмилиции храпели:—„осади назад!“—Крестьяне за несколько дней до нашего прилета собрались из дальних—за сорок, за пятьдесят верст—деревень. Все начальство было на мостках. Оркестр охрип. Мороженщик и торговки открыли торговлю... Потом два дня город ходил обалделым...

... Я помню от детства: это было в Можее. Мне было лет семь. И тогда в чайную общества трезвости привезли—первый граммофон—первый граммофон во всем городе, один из первых граммофонов в России. Мой отец долго и серьезно обсуждал,—можно ли меня взять послушать граммофон, не подействует ли это на детскую психику. Мама настояла, чтобы я пошел. Была декабрьствующая зима. Весь город не мог войти в чайную трезвости,—и тогда подрядчик Гудков, плотник, собственноручно выставил зимние рамы, чтобы можно было слушать и тем, кто остался на улице. Мне трудно сейчас передать, каким священным благоговением переродил тогда мою ребячью душу граммофон: тогда, должно быть, впервые у меня осозналась или почувствовалась гордость того, что я—человек,—гордость—за человека, за человеческое знание и силу... Я присматриваюсь к лицам вот этих ушкуйников, что собрались на берегу,—я вспоминаю Можайск: в их лицах я вижу себя. Но кроме того, я думаю еще и о том, что—тот почти-мистический граммофон, который перерождал меня,—такими буднями стоит теперь—вот здесь, в Дедюхине у старосты Москвы. Я верую в человечество и знаю, что, когда моему сыну будет столько же, сколько мне,—он напишет о самолетах так же, как я сейчас написал о граммофоне,—или даже еще проще, потому—что он знает слово антаплан и может его отделить в воздухе от птицы...

* * *

Соли камские!

Я писал чуть-чуть саркастически о солях камских. Это мне нужно было к тому, чтоб сохранить перспективу. Но мне стыдно перед соликамцами, потому что я плачу им не одинаковой монетой, потому что встретили они нас очень большой радостью и очень большой нежностью. И неправда, что у меня нет к ним нежности, благодарности и радости за них.

... Но мы опять в воздухе. Дальше, дальше в лес, в чердаки. Мы высоко над землей. Горный хребет рядом. Закат. Дальше, дальше!—Копылов машет рукой и кричит. Я не разбираю,—тогда он шлет записку:

„Прощай Кама. Перелетаем на Вишеру“.

Потом мы перелетели на Колву. Перед нам Полюдов Камень. Под нами—„Пермь Великая—Чердынь“,—как звались эти места при Грозном. Самолет идет на посадку, звенит в ушах.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ПОСЛЕДНЯЯ, О ПОСЛЕДНЕМ ПЕРЕЛЕТЕ

...Жители города Чердыни называют себя—чердаками.

На берегу, рядом с нами—самолет, Тосик роеся в моторе. Наша изба на берегу, около самолета,—на огромном столе разложены карты, двадцатипяти, десяти, двух-верстки: капитан, пилот, я—над картами. Нам предстоит перелет, рекордный, головокрумный перелет: триста верст на гидроплане над сушей, без возможности сесть,—триста верст над лесами, где село от села (от Бондюг до Корчемного) в двухстах верстах. Я подсчитываю версты; от Чердыни до железной дороги—триста; когда мы перелетим наш головокрумный путь, будем в Усть-Куломе, до железной дороги будет—700. Нам предстоит лететь местами, где вот уже десятки лет никто не бывал. Мы полетим над Южной Кельтмой, до Северо-Екатерининского канала,—там мы полетим над Северной Кельтмой—до Вычегды, по пути нам будет озеро Дондэ, никем не обитаемое, никем не изученное. Нам известно, что Северо-Екатерининский канал закрыт, заброшен семьдесят лет тому назад; нам известно, что там были „Шуваловские“ казармы: что стало с ними за эти 70 лет?—Мы кликнули клич, и к нам приходят старожилы, охотники, пермяки, лесничие: мы расспрашиваем их о нашем пути, и мы устанавливаем, что никто ничего не знает; одни рассказывают, что и канала нет уже совсем,—другие сказывают, что в канале пересохла вода, третьи—сообщают, что „ничего, я двадцать лет тому назад ходил в зыряны, там была вода“...—Мы роемся над картами. Мы решаем взять с собой продовольствие. Мы знаем, что, если сдаст мотор, нам придется садиться на лес, нам—в худшем случае—придется ломать свои головы,—в лучшем один из нас останется на самолоте, на оскол-

ках самолета, а трое пойдут в пеший поход, за сотни верст к ближайшему селению; Авиachim снял с нас ответственность за этот перелет—ответственность за самолет: ответственность за наши головы—никто не может снять с нас. Мы решаем уйти елико возможно выше в воздух, итти за облаками; карты проверены; Копылов девирирует компас,—у нас нет секстана,—циркулями мы измеряем карты и составляем путевку—на тот случай, если нам придется полететь, как идут корабли в море,—по компасу. Каждый из нас через каждые четверть часа выходит на берег, вынимает платок и смотрит платком, как, куда дует ветер,—и смотрит внимательно в облака, примеривается, присматривается, решает облачность и высоту облаков;—барометр разбойничает, падает, гадит все наши дела!..—можно шутить: мы в подвале российских трущоб,—но поскольку чердынцы называют себя чердаками, поскольку мы пойдем местами, где нельзя даже сесть и будем удирать от земли ввысь,—надо решить, что мы—на чердаке российских трущоб!

* * *

...Дождь шел вчера, дождь идет сегодня, изморозь, слякоть, лететь нельзя. Мы сидим дома. К нам приходят лесники рассказать о Кельтмах и канале: они знают столько же, сколько знаем мы (...А третьего дня—был такой, такой золотой осенний день!—Копылов и Тосик ходили на охоту, принесли тетерок,—я провожал их в зорю, и на лужах был ледок, колкий, как этот золотой рассвет)... Идет дождь, на столе ведро квасу и карты... Даже не стоит писать писем, ибо почта ходит (на лошадях) только через каждые четыре дня...

Чердаки!—Даже не стоит писать писем!... В Чердыни не торгуют даже русской горькой („чтобы не спивался народ и начальство“,—как объяснил нам предавиachim; „начальство“ здесь было раскассировано за несколько дней до нашего приезда—главным образом за пьянство, за кумышку). Здесь нет даже кинематографа. Здесь нет—здесь нет—

Но лучше я расскажу, что здесь есть.

Здесь спрашивают человека:

— Ты кто?

— Крестьянин.

— Твое имущество?

— Два ружья (из которых одно кремневое) и пять собак.

И налоги берут с—с ружей, а еще совсем недавно брали: с луков. Эти люди не едят хлеба. У этих людей можно купить медвежью шкуру за пять целковых. Белок они бьют (из кремневого)—в глаз, если попадут в другое место, шкурка считается бракованной. Пять собак у этого человека потому, что с одной он ходит за медведем, с другой—за белкой, с третьей—за рысью.

Здесь в Верхнюю Лупью четыре месяца в году никак не попадешь, а в иное время и зимой и летом туда ездят на сани: телег там не видели, а пароход, который однажды туда забрел по разливу, приняли за церковь. А в Большой Коче, в Юрлинском районе, до сих пор пермяки на Фролов день бьют быков богу,—при чем режет быков местный православный батюшка: быков варят в котлах и священнодейственно едят; делается это против православной церкви; в этих же котлах варят и самогонку. И в каждой волости в этих местах свой собственный леший, именуемый по имени, отчеству и фамилии, Иван Иванович Иванов.

Здесь, ежели надо побывать человеку верст за сорок, он говорит:

— Ничего, побегу,—

сбегает и к вечеру будет дома.

* * *

...Эти места древни. Пермь Великая—Чердынь, как назывались эти места в старину, помнит, как в 1535 году приехал сюда московский воевода Давид Семенович Курчев и крепость здесь ставил,—здесь шел тогда Великий Сибирский путь. Петр рыл здесь каналы, чтобы связать Поволожье с Севером, с Двиною, с Белым морем: канал помер 70 лет тому назад,—а советская власть пришла в Чердынь—не в семнадцатом,—в осьнадцатом году, катилась туда год, жили год без власти.—...Мы прилетели сюда; летали ко хребту, за Поюдов камень, к Говорливому камню (и:—как передать красоту этого полета, когда текла под нами дикая серебряная Вишера, был рядом с нами направо Говорливый Камень, гранитные скалы, уходящие в реку,—а слева чертили мы крыльями по вершинам сосен, и опять были скалы с нами, а там за скалами новые и новые восставали громады гор?!),—так вот, летали мы за Поюдов камень в село Морчаны: там нас ждали с плакатами,

там не было возможности сесть на воду,—мы стали кружиться над селом, стали сбрасывать агитлитературу: и вдруг, увидели мы, как дрогнула толпа внизу на берегу, как дрогнули плакаты—и все, и все помчались с берега к горе, в лес, под сосны,—как умерло село; мы там в Морчанах не садились: я не знаю, кем и как привиделись мы морчанцам?!.—Пионеров приняли здесь в селе Бондюги—за чертенят, и сообщили нам, что до Ильи пророка по небу 3.399 верст, хоть и ходит он там в шубах...

* * *

Скучный край, ужасный край! Мы прилетели в Бондюги. Это последний наш пункт здесь на Урале, на Прикамье. Отсюда нам лететь в зыряны. Идет дождь, облака ползут по земле. Леса, леса, леса. Сколько здесь сифилитов?—ни у кого не спросишь.—Сидим на берегу у самолета. Мужик толкует про Илью пророка и про версты до него, и спорить с ним бессильно, разве кол на голове тесать.—Кто-то сжалился над нами,—повел нас на квартиру фельдшера (сказал: „—все побезопасней“!). Граммофон, лампы, „Пробуждение“, коврики; дали поесть—пирог с треской: из нас никто к треске никак не привыкал; принесли малины: девушка сказала, что собрала немного, потому что „зверь“ (медведь) мешал; на полу постелили нам одеяла, легли на них; все стихло, кроме комаров и мух. Тогда вошел крестьянин с проваливающимся носом и загугнил:

— Сына я зеню, дай-и т'и убря—

Мы не поняли, почему должны мы дать ему на сынову женитьбу трешницу; он обиделся, постоял у притолоки и пошел обратно; на пути его стояло ведро с водой, то самое, из которого так жадно пили мы,—и тем ковшом, которым жадно так мы пили, попил он воды...—Мы пробыли в Бондюгах после этого еще сутки: и там не пили мы ни капли больше, ни зерна не ели!—Леса, леса!—

Скучный край, ужасный край! Но: вот в Бондюгах мы идем в совет, там говорим о продналоге, о делах, и кто-то отзывает меня в сторону.—„Вы такой-то?“—„Да“. —„Простите, я пишу стихи, я пролетарский поэт. Зайдите к нам в избучитальню“.—Я иду. Изба, как все избы на севере. И там на стене—стенная, рукописная газета. Я читаю ее. Я думаю—

где я, ужели в Бовдюгах?—непохоже!.. В газете, вопреки стихиям,—о знании, о культуре, о России и СССР...—Мой спутник говорит:

— Мне хотелось бы спросить вашего мнения. Вот у меня товарищ, зверолов, хочет жить по-новому. У него родилась дочь, он назвал ее Розою. Потом он ушел в леса на охоту, месяца на три,—и жена тем временем отнесла его дочь в церковь, окрестила Дарьей. Пришел отец, говорит,—„что ты со мной наделала, разбила ты мое счастье, не могу я с тобой жить, потому—что нет у нас контакту“.—Хороший человек был.—„На, говорит жене, тебе все мое хозяйство, живи, как знаешь, а я пойду в леса, буду жить один“... А она на него в суд.. Судятся. Мы, товарищи, собирались, обсуждали: прав он или нет, разошлись во мнении...

Я перебиваю его:

— Простите, а вы, собственно, кто?

— Я—зверолов, охотник. Я, товарищ, стихи пишу, хочу с вами...—

И мы хорошие часы лежим на берегу реки, я говорю ему о мастерстве писания, о том, что писателем можно стать только человеку, знающему большую грамоту. Мы прощаемся с ним с тем, чтобы через год встретиться в Москве,—он простившись со мной идет, „побежит“ (пешком) в Чердынь, чтобы достать там книг по географии и арифметике, тех, которые проходят во второй ступени.

— Простите,—говорю я,—да вас таких, как вы, много, что ли?

— Нас тут целая компания, живем вместе, учимся...—отвечает он.

Я смотрю на него с удивлением.— Но он не один за мои пути. В Сарапулах, Еловах, Добрянках, Усолях—разбросаны люди, которым дал я свои адреса,—и человекам двадцати я написал письма, в Казань, в Пермь, в Москву, в Питер: в этих письмах я молил помочь им,—а их самих я умолял ехать учиться—не ради них, а ради русской нашей культуры, ибо—какие это талантливые люди, как много сделают они для России, когда в руках их будет знание! Среди них были люди, которые должны стать Шаляпиными (какие голоса!), которые станут огромными писателями, которые сейчас уже переверстывают на версты все по-новому, при чем у них новая

тема, новая манера брать материал,—я сейчас уже согласен считать одним из лучших поэтов Василия Сергеева, написавшего о том, что думает парень, тот, который на утро идет записываться в комсомол, который ночь перед этим утром бродит у реки, как он думает и бродит у реки; я готов сдавать позиции сарапульскому Котову, беллетристу, слово для которого так же значимо, как монета нумизмату,—Котову, секретарю Мопра.—Это все те, кем поползла на новые пути Россия.—Сколько их?—

* * *

Третьего дня дождь, вчера туман и дождь,—облака ползут до земле, леса во мгле и грязи, берега у реки ползут. Нехорошо, страшно скучно. Мы все время держим по ветру платки, смотрим на небо, смотрим в барометр.

... Мы здесь, в Верхнекамье, в Приуральи,—нам надо подняться в воздух, уйти в лесную пустыню, лететь над безлюдьем,—чтобы прилететь в новые водоразделы, в другой мир,—спуститься с чердаков.—

Это последний мой перелет.

* * *

И вот мы идем на берег, чтобы сесть в самолет, чтобы идти в воздух. День солнечен. Облака высоки, редки, белы. За головы наши мы ответственные—только сами мы, только сами наши головы: и головы наши на своих местах. Шутить не стоит: шутить с головами и о том, что, мол, если не будет о нас неделю вестей, идите искать наши обломки. Берег в Бондюгах пустынен, песчанен, скучен,—избы стали спинами к берегу, лодки легли на берегу доньями вверх и сушатся около лодок невода: картина скучная, как в сказке о рыбаке и рыбке. Мы садимся в самолет. Карты на коленях у Копылова. Самолет нагружен до краев. Пред моими глазами—веревки, якорь, чемоданы, резиновые сапоги, карта нашего маршрута,—за окошком, в кабине пилота—сосредоточенные лица Копылова и Тосика, рядом со мной Вахламов. Тосик и Вахламов пошли развертеть пропеллер (—„держись, брат-пропеллер!—забуксуешь, заерундишь,—будет ерунда!“— герой пропеллера механик Тосик, хохол, невозмутимейший мужчина,—он говорит спокойно:—„На каком же это основании ему именно тут и гадить-

ся?!“ — ...Пропеллер рвет воздух. За нами — земля, берег, скука. Мы рулим, разогреваем мотор, он идет по течению, бессильный. Но вот — мы стали против ветра, крылья окрепли и: мотор рвет воду, расстояния, берег, гремит. И: земля уходит из под нас. Мы в воздухе с тем, чтоб скинуть с поплавков брызги верхнекамских вод, вод Великого Волжского бассейна, — с тем, чтоб обмочить наши поплавки в водах Великого Северного бассейна. Мы делаем над Бондюгами один, два, три круга, чтобы нагнать высоту, мы уходим в версты над землей, — колоссальные дали лесов расползаются под нами. — Леса, леса! Вперед, вперед!

И тогда Копылов берет в расчет руля компас. Мы идем вперед. Вот под нами Южная Кельтма. Леса, леса, леса, болота, безлюдье, — ближайший человек в двухстах верстах (так нам сказали карты): Кельтмы иной раз и совсем не видно за лесами там внизу, — не видно этого ручья, почти пересохшего. Солнце полными пригоршнями лезет к нам, облака под нами. Здесь в высотах, должно-быть, крепкий ветер: качает крепко, кидает, ставит на бок, позванивают крылья. И ясно, что с нами ничего не может быть. Я смотрю: Тосик сидит развалившись, как барин, — это его детище мотор, это под его руками рвет он воздух, — у Тосика степенство на лице, блаженное степенство. Копылов поет. Вахламов около меня поет. Я пою. Все мы поем разное, это неважно, все равно громче всех нас поет пропеллер. Копылов машет локтями, указывает вперед, мотает головой. Мы смотрим вперед и видим там вдали в лесах линейкою проложенную зеленую черту. Это Северо-Екатерининский канал, с высоты его плохо видно, — но видно, но видно, что воды в нем нет, что пересох он; там, где указаны кордоны и Шуваловские казармы — нет ничего, одни леса. И канал уходит под нами назад. Тогда капитан перекрикивает мотор, — он кричит „ура“, — и пишет мне на бумажке:

„Ура! Приветствуем Авиакс, застрельщика этого пути, триста верст над сушей на гидроплане — пройдены! Ура!“ — Мы уже над северной Кельтмой! Впереди должно быть озеро Дондэ: мы рассчитывали, бросив компас, идти на него, — но его нет, его затащили мхи, оно исчезло, превратившись в болото: но вот озеро, которого нет на карте... Вот на карте пустое место, — что такое? — на карте нет ничего, но там внизу огромное село, верст на пять разлеглось, с двумя церквями. И вот исче-

зает Северная Кельтма, вливается в Вычегду. Ура,—мы вновь над водой, мы вновь в безопасности, наш путь пройден... У меня был холодок перед этим перелетом: кто кого?—стальная прекрасная машина, прекраснейшее человеческое достижение победит леса и дичь,—или леса, болота, глупость, дрянь—нас победят, перехитрят, загонят в топи, заставят прятаться от медведей и сотню верст ползти в болотах до жилья?—

— Прекрасная машина победила!—И вон впереди селенье Усть-Кулом, то, где должны мы сесть. Самолет идет стремительно вниз.——

* * *

Мы в зырянах. „Зыряны“—значит — „оттесняемые“: так, „зыряны“, называл себя местный народ в течение столетий, так прозвали их окружающие,—но настоящее имя их—Коми, Коми-народ—Коми-морт. Мы у Коми-морт. На горе на берегу двухэтажные деревянные избы, богаче, чем у русских, в нижнем этаже этих изб—скотный двор. На берегу у самолета—тысячная толпа, и зырянин с крыла самолета говорит на своем родном языке приветственное нам слово: я все понимаю, что говорит он, потому—что слова „наука“, „революция“, „знание“—на зырянском языке произносятся так же, как и на русском. Так же, как всюду, я вижу, как самолет преобразает лица смотрящих на него. Так же, как всюду, я вижу благодать культуры, которую несет самолет.

...Но для себя я решил, что этот мой перелет—последний, —надо было в Москву, на осень, за книги, за дела, за рукописи... Я спрашивал:

— Сколько верст отсюда до железной дороги?

— Семьсот—ответили мне.

— Как же вы ездите в Москву?

— Триста верст на лошадях, потом четыреста на пароходе.

Я решил триста лошадиных верст сократить полутора часами лета самолета.—Но, уж если разговор пошел о верстах,—то вот от Усть-Кулома, уездного города Коми области, до волости этого уезда—525 верст...

* * *

...Нас ведут в зырянскую баню. Баня—курная: сначала ее вытопят, потом выпустят из нее угар, потом люди идут мыть—

ся. Потолок там так, что мне нельзя стоять выпрямившись: задеваю за потолок плечами. И вся баня черна от сажи. Мыться очень трудно: вымылся, неловко повернулся и весь в саже; вновь отмылся, запаматовал, встал—и голова осыпана сажой. Тогда сообразил пойти я на берег, домыться в реке. Потом мы ходили в комсомол, потом мы ходили гулять по селу. Нам сказали, что у зырян есть обычай, если девушке понравится парень, она зовет его с собой спать; по всем этим землям вот уже столетье бродит сифилис,—во многих местах совсем замирала рождаемость: поэтому почетом считается если у алтаря под брачным венцом стоит жених, как жених, и рядом с ним невеста с животом о девятом месяце,—при чем не очень существенен вопрос об отцовстве;—нам рассказали об обычае ходить к девушкам на совместный сон...—Потом мы сидели с военкомом, и он рассказывал, как он ездил на регистрацию лошадей в село Мыелдино; там в селе все сидели по домам, в новой одежде; он, военком, сказал, чтобы ему показали лошадей,—ему ответили, что лошадей показывать не стоит, ибо все равно завтра в девять часов утра будет —конец света! Так никто и не шевельнул пальцем, сидели по домам и торжественно ждали; военкому пришлось прождать до одиннадцати часов, когда стали лошадей приводить, решив, должно быть, что конец света отложен. Военком же рассказывал, как некий зырянин писал фининспектору о сложении с него налогов, подкрепляя свое ходатайство от святого писания...—Военком же рассказывал, что в этих местах еще не имеют понятия о замках, нет воровства, а если заметят в этом человека, то самосудят его в смерть... Я упустил добавить, что, когда ждали конца света, в полночь ходили ненадолго в церковь, предлагали и военкому пойти,—он остался спать,—а те пошли, захватив почему-то с собой... УТОК; конец, света должен был прийти в согласии с местным духовенством...

* * *

...Но, я должен закончить эту главу, эту книгу о полете. И так же, как все эти очерки, я должен закончить приветствием и бодростью—мы пришли домой, в ту избу, где нас оставили ночевать. И ночью я услышал, как кто-то возится внизу с лошадьми, понукает, двигает телегу. Я спросил, в чем дело?—И мне ответили:

— А, это студенты в Москву уезжают. Отсюда, из этих лесов, в Москву ехали студенты, один рабфаковец, двое из Коммунистического Университета трудящихся Востока, один из ленинградского Политехникума,—им предстояло проехать триста верст до парохода. Наутро я улетел отсюда. Через день мы плыли на пароходе по Вычегде... От времени до времени капитан парохода кричал: „Граждане пассажиры,—на корму!“—Мы шли на корму, пароход проползал половину мели, — мы шли тогда, по команде, на нос. Потом пароход застрял окончательно на мели,—мы простояли полсуток, за нами пришел другой пароход... На пароходе было человек десять случайных пассажиров, таких, как я, и было человек полтора студентом, рабфаковцев, учащихся во вторых ступенях: это было то, что леса, болота, озера Коми-области выделили из себя, послали за знанием. Каждый помнит с картинок из учебников географии старинные русские шляпы из войлока, вроде ведерка,—студенты ехали в таких шляпах, студентки ехали в сапогах и платочках; это было то здоровое, тот свежий ключ, что вытекал из под глетчеров варварства Коми—области. Я присматривался к этим студентам: ах, какой хороший, бодрый народ, народ, выделенный Коми-областью так же, как вода, насыщенная солью, при испарении выделяет кристаллы—но ведь кристаллы соли замечательны и тем, что они страшно впитывают в себя всякую влагу: народ, который поехал в университеты впитать в себя знание!—„Зыряны“ значит—„оттесняемые“. Так их звали столетием, что было оскорбительным именем: но, я думаю, что студентов Коминарода не оскорбительно назвать зырянами—„оттесняемыми“ в знание...

Самолет полетит дальше,—я покинул его. Я думал о том, что мы не дооцениваем,—мы, москвичи, я, писатель,—не дооцениваем России: я думал о том, что мне этот полет дал не меньше, чем любая университетская дисциплина наук. Прощаясь с Вахламовым, Копыловым, Тосиком, я крепко расцеловался с ними, как крепко расцеловался бы я с каждым, кто несет культуру,—как хотелось расцеловать мне тех студентов, что плыли со мной на пароходе,—на пароходе, который то и дело садился на мели...

* * *

Копылов говорил мне, что тот перелет, что сделали мы, через заброшенный Северо-Екатерининский канал — есть рекорд-

ный перелет: авиация не знала случая таких полетов на гидро над землей; тогда там в высях над лесами я гадал, кто победит, леса или мы—прекрасная машина? Победили мы!.. Пройдут недолгие годы, и те студенты, что ехали со мною в войлочных шляпах и пели свои зырянские песни,—те, что поехали за прекрасным знанием: не только перелетят эти пустыни лесов.

Леса, леса, леса —

Я заканчиваю эту главу и эту книгу тем, чем начал первую главу.

Там, в воздухе, я знал, что мы идем сто двадцать километров в час и в километре над землей,—я это знал, в воздухе не чувствуешь высоты и быстроты полета: там в воздухе тогда я это знал не только для полета, но и для всей России, всей той, которую я увидал в полетах.

И там в воздухе, сидя за ремнем, я установил, что я многожды уже летал, главным образом, в детстве, во снах,—и тогда те полеты во снах—куда были интересней, романтичней, страшнее, чем в яви—и это опять я знаю о России: выдумать, проектировать, фантазировать—куда интересней, чем рыться в действительности, чем видеть действительность.

И третье, что я знаю:—это то, что, если найден ключ (безразлично к чему, сейчас у меня—к русской действительности)—если найден ключ,—тогда все двери открыты, как у Архимеда, который утверждал, что, если бы у него была найдена точка опоры, он перевернул бы мир.

Чистополь, Пермь,
Усьолье, Чердынь,
Москва, — июль—
август 1925 г.

6242.

